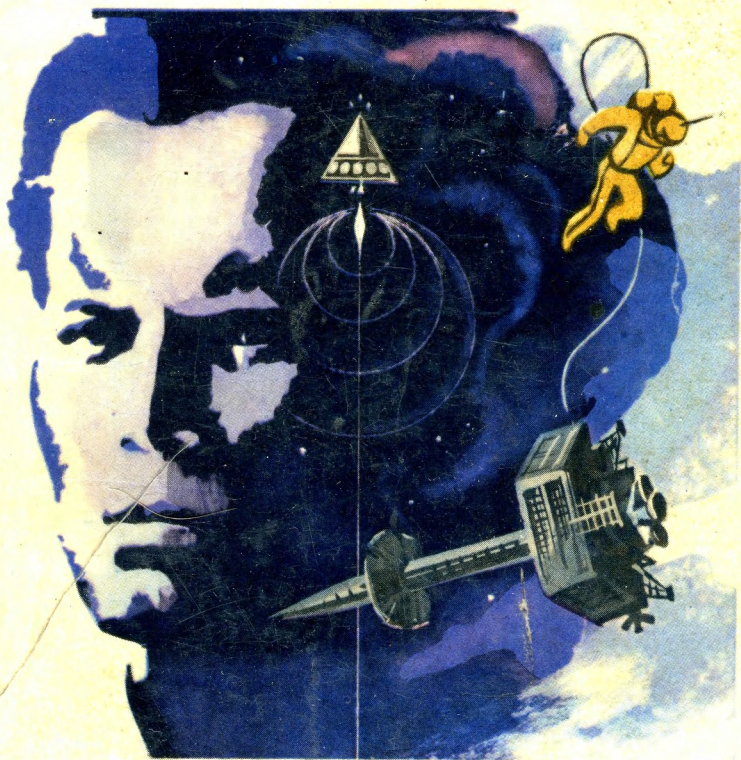


Библиотека советской фантастики

БОРИС ЛАПИН

ПОЯ СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ





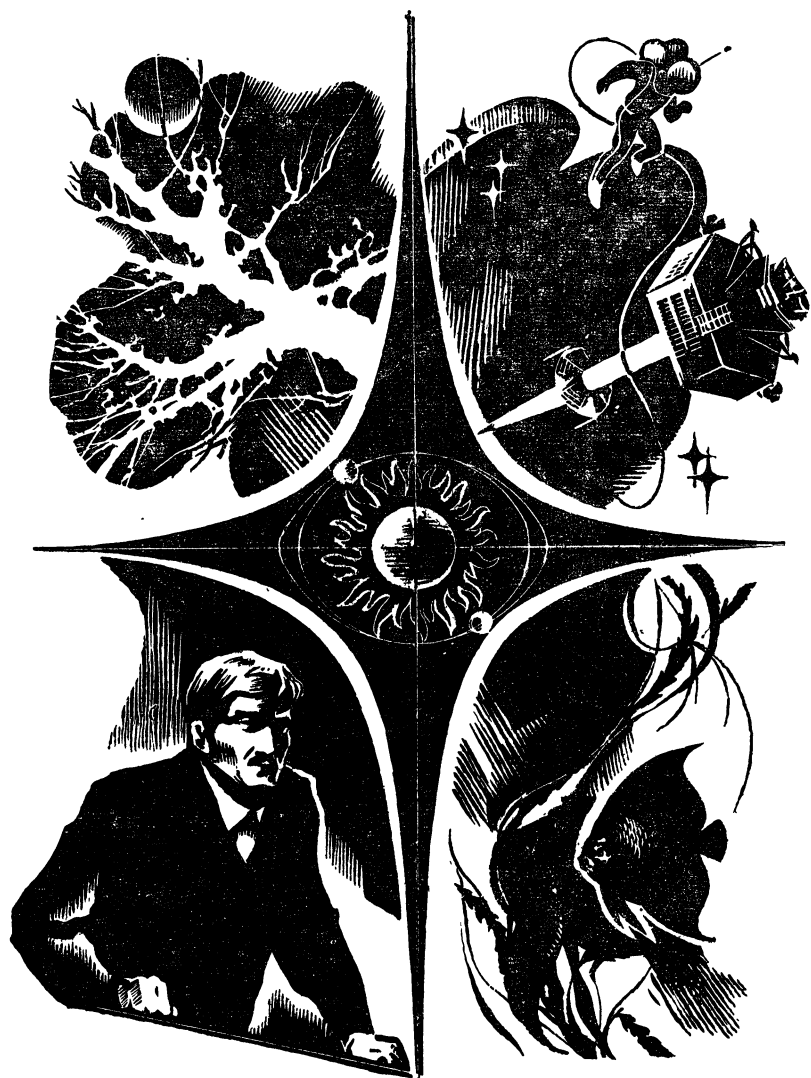
ОБ АВТОРЕ

Борис Лапин родился в 1934 году. Окончил филологический факультет Иркутского университета. Почти два десятилетия посвятил документальному кино: был сценаристом, редактором, главным редактором студии.

Он автор шести книг, последняя из них — «Разноцветье, разнотравье», выпущенная издательством «Современник» в 1977 году. Борис Лапин много работает в жанре фантастики: в Иркутске вышел в свет его сборник «Кратер Ольга», повести и рассказы печатались в сибирских и московских журналах, в молодогвардейских сборниках фантастики.



БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ



Библиотека советской фантастики

БОРИС ЛАПИН

**ПОЯ СЧАСТЛИВОЙ
ЗВЕЗДОЙ**

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

**Москва
«Молодая гвардия»
1978**

**Р2
Л24**

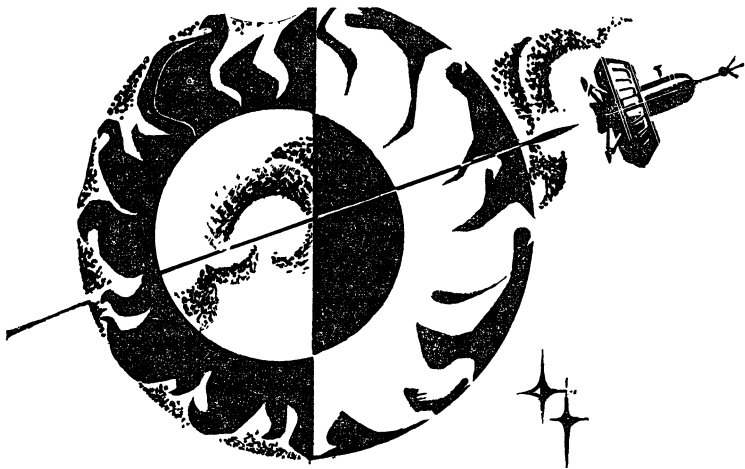
Б $\frac{70302-197}{078(02)-78} 232-78$

© Издательство «Молодая гвардия», 1978 г.



ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

ПОВЕСТЬ





Исследовательский планетолет «Профессор Толчинский» возвращался с Титана, шестого спутника Сатурна, на базу, в марсианский порт Подснежники. Маршрут был освоен еще в прошлом веке, Ларри Ларк, капитан «Толчинского», уже не один десяток раз ходил этой трассой и знал ее наизусть. Корабль, выгрузив припасы и оборудование на станции «Титан-4», домой возвращался налегке, всего с двумя зимовщиками на борту, так что рейс предстоял не из веселых — обычный трехнедельный рейс, достаточно заполненный работой по стандартной исследовательской программе, чтобы не помереть со скуки, и достаточно нудный, чтобы не считать его прогулочным.

Единственным развлечением между шахматными баталиями и старыми фильмами были споры пассажиров, отработавших свою смену на Титане, — геолога Бентхауза и океанолога Церра. В спорах этих принимали посильное участие и сам Ларри Ларк, и бортинженер Другоевич, и штурман Мелин — разумеется, в свободное от вахты время. Да и то, теперь уж и дискуссии эти о жизни на Титане приелись, не так щекотали нервы, как два-три года назад. В прежние времена таких крупных специалистов, только что посетивших преисподние Титана, слушали бы с раскрытыми ртами, а теперь даже стажер Мелин, впервые выпорхнувший в космос, мог сколько угодно и совершенно безнаказанно разглагольствовать о загадках Титана. Впрочем, пассажиры, хотя и позволяли высказываться непосвященным, дебатировали в основном между собой. Оба они были специалисты что надо, однако выступали явно в разных весовых категориях, и маленький, сутулый, ссохшийся Церр, похожий на краба, нередко посылал в нокдаун тяжеловеса Бентхауза. В этих жарких схватках глубинные разломы в коре Титана громоздились на ледовые

полости, теплые водоемы внутри многокилометровой толщи льда схлестывались с магматическими потоками, а проблематичные «споры» — то ли зародыши будущей жизни, то ли остатки прежней — тонули в питательном бульоне, и не было никакой возможности не только установить некое подобие истины, но и выяснить позиции сторон: оба ученых мужа излагали свое кредо так туманно, такими пугающе научными словесами, будто бы изо всех сил старались окончательно запутать проблему.

Сразу после завтрака Ларри Ларк направился в рубку, по пути окинув взглядом шахматное Ватерлоо, которое разыгрывали между собой Мелин и Бентхауз; Церр, как всегда, подавал довольно ядовитые реплики; «болеет» он по обыкновению не за кого-нибудь, а против Бентхауза. «Дети, чисто дети, — усаживаясь за пульт, подумал Ларри Ларк. — И не надоело им это ежеминутное подкусывание? В добрые старые времена, когда корабли годами бороздили пространство, с таких безобидных шуточек начинались трагедии. А еще друзья и коллеги! Или уж так надоели друг другу за время сидения в ледяных пещерах Титана?»

Вошел Другоевич.

— Я, пожалуй, разберу блок питания. Что-то он не того.

— Давай. Все хоть занятие.

— Как вам этот Церр, капитан?

— А что? Пассажир как пассажир, бывали и хуже.

— Оно верно, что бывали. Не нравится он мне. Слишком много желчи для такого тщедушного тела. Тоску навевает.

Ларри Ларк пожал плечами, дескать, нам-то что до этого.

Он прикинул координаты и нанес маршрут. На звездной карте значилось: МЕТЕОРИТНЫЙ ПОТОК «ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК». Когда-то грозные тайфуны, сти-

равшие с лица земли целые города, называли ласковыми женскими именами: Алиса, Глория, Флора, — словно задобрить хотели. Потом и метеоритным потокам стали давать имена детских сказок: только бы проскочить, не наткнуться на небесный камушек. А теперь, когда метеоритная мелочь кораблям не страшна, как-то странно звучит: «Золотой петушок». Не подобострастие — полное пренебрежение! И действительно, как ни старайся, не поймашь в ловушку добрый осколок, одна пыль.

Он раскрыл корабельный журнал и записал: «4 сентября. Все системы судна работают нормально. Самочувствие экипажа и пассажиров хорошее». Глянул на записи выше: 3 сентября, 2 сентября, 1 сентября, 31 августа, 30 августа — одно и то же: «нормально... хорошее», «нормально... хорошее». Его даже зевота пробрала — хоть бы у кого-нибудь живот заболел, что ли. Скучным становится когда-то грозный Ближний Космос.

— Пойду запущу пару «корзинок», — сказал, потягиваясь, Ларри Ларк. — Как-никак «Золотой петушок». Авось да и поймает чего, не для науки, так для отчета.

— Добро, капитан, — отозвался Другоевич. — Все хоть занятие.

В исследовательском отсеке Ларри Ларк не спеша опустился в кресло, нажал педаль, отпирающую затвор катапульты, и протянул руку за автономной метеоритной ловушкой, именуемой в быту корзинкой...

В этот самый момент его обожгло, стиснуло, оглушило грохотом. Словно гигантских размеров скала, тяжелая и раскаленная, рухнула на капитана. Теряя сознание, он еще успел услышать треск. Треск, от которого вмиг седеют космонавты. Но Ларри Ларку это не грозило — он и без того давно был сед. «Профессор Толчинский» трещал как орех, сжатый щипцами, — если бы только кто-нибудь когда-нибудь слышал этот треск изнутри ореха.

Как маятник, туда-назад, туда-назад, метался Руно Гай по операционному отсеку. Стиснув зубы, сцепив пальцы за спиной, сдерживая себя изо всех сил, — шесть шагов туда, шесть назад, шесть туда, шесть назад. Вот уже месяц, наверное, как начал он метаться по отсеку. Хотел успокоиться вдали от людей, привести в порядок нервишки — и вот на тебе, совсем распустился. Мало того, познакомился с галлюцинациями. Все чаще казалось, что, стоит ему резко перейти в одну сторону отсека — и весь бакен клонится в ту же сторону, пусть немного, но явно клонится, а потом так же и в другую. Руно Гай знал, что это чушь, дичь и чертовщина, что трехсоттонную громадину бакена не в состоянии раскачать его восемьдесят килограммов, но ощущение было сильнее доводов разума.

Так он шагал по отсеку, исподтишка наблюдая, как уходят вниз под его тяжестью пол, стены, пульта, плафоны, и думал свою неотвязную думу. Вот уже месяц, наверное, ни на минуту не мог отвязаться от этой думы. Вернее, от одного слова.

Нóра.

Как она там, на Земле, Нора?

Эх, Нора, Нора! Молчит!

Что же все-таки произошло, Нора?

Он и с открытыми глазами видел ее как наяву. В аллеях института. На террасе гостиницы в Жиганске. На Адриатическом пляже. На паруснике, пересекающем Ленское водохранилище. На космодроме. В тайге на охотничьей тропе. В тенистом парке Звездного городка. В фойе Парижской оперы. На улицах Москвы.

И сколько бы ни вспоминал, не мог представить ее неподвижной. Стоящей, сидящей. Она существовала только в движении, всегда в движении — стремительная, порывистая, нацеленная вперед. Наверное, аэроди-

намические качества ее были безукоризненны. Острый профиль, устремленный вдаль, — и волосы, развевающиеся за нею, как огненный хвост кометы.

Нора...

Еще в юности, на первом курсе училища, он был зачарован этим зрелищем. Три дня их учебный корабль шел параллельным курсом с кометой. И три дня они не отрывались от иллюминаторов, по очереди выходили в открытый космос — и смотрели, смотрели, впитывая в себя эту неземную красоту, проникаясь ею. Она и впрямь незабываема, комета. Много разного повидал Руно с тех пор, но комету помнит, как... как Нору.

Ядро кометы воспринималось иссиня-черной бусинкой в бархатистом мерцающем ореоле. Пронизывая пространство, вырывалась из ядра узкая огненная струя, раскаленная игла льдистого, какого-то сине-зелено-фиолетового цвета, вобравшего в себя все оттенки холодного, мертвого, замерзшего навеки. Но это холодное, замороженное казалось все-таки раскаленным до предела, потому что потом, расширяясь на черно-звездном фоне, завихряясь и спутываясь, распускалось ярчайшими цветами: голубыми, оранжевыми, розовыми, сиреневыми, багровыми — всеми возможными на Земле цветами. А отгорев, цветы вытягивались длинными рыжими лентами — языками пламени, лисьими хвостами, снопами мерцающих искр. И весь этот заполнивший полнеба след так разительно напоминал разметавшиеся девичьи волосы, рыжие с золотинкой, что рука невольно тянулась коснуться их. Из всего обилия красок, из всего буйства природной пиротехники Руно особенно поразили живые, колышущиеся волосы кометы. В них нельзя было не влюбиться.

И когда потом он встретил девушку с такими же волосами, постоянно реющими в стремительном движении, девушку-комету, он понял, что это — судьба. Ее звали Нора.

Да, она была похожа на комету. Не только внешне — и внутренне тоже. Он с самого начала сознавал, как нелегко быть кометой, как нелегко быть спутником кометы, всю жизнь идти с нею параллельным курсом. Но ему нравилось это, ему не хотелось ничего другого. И только здесь, на бакене, пришло в голову: бывают ведь кометы и с ледяным ядром.

С ледяным сердцем.

Руно Гай изо всех сил сдерживал себя, однако с каждым днем это становилось труднее. И он уже начал жалеть, что напросился на бакен. Одиночество не излечило его от Норы. Наоборот! И вообще одиночество оказалось не по нему. Он ждал совсем другого. Конечно, в отделе движения его еще и надули слегка, наговорив всяческих страстей о «Золотом петушке». Старый знакомый Никандр удружил. «Это, — говорит, — не просто бакен, это своего рода пекло, представляешь, в центре такого потока. И нам нужен на этом бакене не просто оператор, а сам дьявол, смелый, изобретательный, изворотливый. И всего на год. Сейчас интенсивное движение в связи с исследованиями системы Сатурна, и если бакен замолкнет хоть на час... Чувешь, чем это пахнет?»

Да этому бакену сам господь бог, если бы он вдруг объявился на свете, не заткнет глотку, не то что какой-то «Золотой петушок». Правда, «Золотой петушок» действительно клевался, несколько раз ударяли метеориты, бакен подбрасывало этак легонько, как яхту на волне. Но ничего не произошло, первичная оболочка поглощала метеориты, как губка — воду. Один даже оставил пробоину, ну и что? У этой посуды избыточный запас прочности. Вот и сиди здесь, Руно Гай, как птичка в клетке, карауль аппаратуру да опустошай кладовку. Можно мемуары писать. Можно даже сначала изучить язык папуасов, а уж потом на этом языке мемуары писать. «Я и Нора», «В поисках Норы», «В пого-

не за Норой». Или еще лучше: «Жизнь без Норы». Вот именно, самое точное название.

Далеко-далеко проносятся мимо корабли, по его позывным прокладывают курс... Сквозь циклопические кольца Сатурна, то и дело дающие о себе знать проплывающими за иллюминатором причудливыми золотыми глыбами-миражами: старинным замком, башенкой, колесницей, вздыбившимся медведем, пастухом со стадом овец... К синему-синему Титану, где в ледяных полостях играют сочные радуги... К обманчиво-приветливому Нептуну, точно сплошь покрытому изумрудной травкой... К мрачному, до сих пор не разгаданному Плутону, приемешу солнечной семьи... А иные возвращаются домой, на Марс, и всем пассажирам, сходящим с трапа, загорелые девушки вручают подснежники... Марс, база космонавтики, далекий, желанный, почти недосыгаемый Марс... А ведь еще дальше, совсем далеко, мерно кружится вокруг старины Солнца теплая праздничная Земля. А по Земле стремительно кружится Нора, огненная комета с ледяным сердцем.

Нора...

А он уже почти год один-одинешенек болтается здесь, на дальней орбите Япета, восьмого спутника Сатурна. Этот Япет ему — как бельмо на глазу. В жизни не видывал более скучной планеты. То ли дело — Луна, Фобос, Деймос! Впрочем, Япет — вполне под стать бакену. Хорошенькую же работку нашел ты себе, Руно Гай, — караулить бакен. Бакен-автомат. Сторож при автомате. Черт бы побрал тебя вместе с твоим другом Никандром! Тоже мне, доброволец. Вызвался на опасную работу. В детстве в пионерском лагере вожатый, бывало, шутил: «А ну, кто добровольцем... холодненький компот рубать?» Вот так-то, Руно Гай, доброволец...

Сверху, из радиоотсека, слышался басовитый сигнал вызова на связь. Руно двумя прыжками преодолел десяток ступенек, хотя знал, что это наверняка сосед

с 343-го бакена — кому больше? Поболтает минуту, как обычно, потом даст пятидневной давности последние известия из Москвы — пятнадцать минут общения с цивилизованным миром. Послушает Руно известия, отфильтрует от помех и передаст дальше, на 345-й бакен. Связь у них — как в старину, когда еще ездили на лошадках, от яма до яма, от бакена к бакену. А навалился «Золотой петушок» — и эта нарушается. Лишь изредка присылал весточку с Марса Никандр, непосредственное начальство, инструктировал, спрашивал про настроение. А что про него спрашивать, настроение у нас, как водится, отличное. Да и ответа на свой праздный вопрос Никандр не ждал, какие уж ответы при таких расстояниях... И больше никто. Никогда. Ни разу.

И все-таки на каждый сигнал связи Руно Гай мчался сломя голову, как ошпаренный. Все еще надеялся. Жаждал. Заклинал. А вдруг: «Соскучилась, простила, возвращайся скорей, целую, твоя Нора»?! Бред, конечно, чепуха, фантазерство. Ледяная комета не может растаять — не будь она тогда кометой. Конечно же, это сосед с 343-го. Но вдруг все же?..

Руно Гай нажал клавишу динамика.

— Терпит бедствие исследовательское судно «Профессор Толчинский». Повторяю. В районе звездных координат... терпит бедствие...

Он до предела вверхнул регулятор громкости.

3

Она и не предполагала, что защита вызовет такой интерес во всем институте. Как-никак тема ее докторской диссертации считалась достаточно частной: «Сверхглубокое бурение в ледовых массивах Титана». Подобные темы защищались в институте чуть ли не еженедельно. Ну пусть «весьма перспективно», пусть «с блес-

ком» — действительно, эти скважины помогут проникнуть в самые нижние и наиболее теплые полости, организовать там исследовательскую станцию, — но чтобы набился полон сад и своих, «сатурновцев», и «звезд первой величины» из других отделов, и даже сам директор Объединенного Института Космоса академик Благов пожаловал, — такого она не ожидала. Наверное, поэтому Нора Гай волновалась чуть больше, чем рассчитывала, и если бы не Жюль Иванович, едва заметными кивками подававший время от времени сигнал «все в порядке», возможно, она смешалась бы, сбилась, а то и вовсе убежала с трибуны.

Впрочем, едва начали задавать вопросы, волнение разом испарилось. Она отвечала кратко, уверенно, даже, пожалуй, дерзко. Но тут уж виноваты они, спрашивающие — вопросы были интересные и трудные, очень трудные. Патриарх внеземных исследований академик Благов, грузный, седогривый, румянощекий, тяжело поднялся со своей скамьи под пальмой:

— А в будущем, лет этак, скажем, через сотню... Что даст ваш метод в будущем?

— Думаю, через сотню лет в одной из теплых полостей вырастет город. Город с ледяным сводом вместо неба...

— Ого! — прогудел Благов. — Город на Титане? С ледяным сводом вместо неба? Смело, размашисто, почти фантастика. Оч-ч-чень интересно!

Когда «сам» уже сел и по традиции вопросы считались исчерпанными, из глубины сада заседаний раздался задиристый голос кого-то из неименитых:

— А вы хоть бывали на Титане-то, барышня?

— А вы? — вспыхнув, вопросом на вопрос ответила Нора. — Что-то я вас там не встречала.

Смех и аплодисменты заставили сестр все еще что-то ворчавшего себе под нос парня, и громче всех смеялся довольный Благов.

И вот все это позади: и доклад, и вопросы, и речи, и тосты, и поздравления, и музыка, и цветы. И вот она сидит, усталая, на террасе, под звездами, и рядом сидит тоже усталый и счастливый, наверное, счастливее ее самой, Жюль Иванович — учитель, наставник, друг.

— Был еще и дополнительный фактор успеха, Нора, если вам мало основных. Угадайте, какой.

— Боюсь, не угадаю!

— Вы сама, Нора. Есть в вашей внешности что-то такое... неуловимо космическое. А внешность, уверяю вас, в двадцать втором веке значит нисколько не меньше, чем во времена осады Трои.

— Преувеличиваете, Жюль Иванович!

— К сожалению, нисколько. К сожалению для меня, разумеется.

— Почему для вас?

— Позвольте задать вам один нескромный вопрос, Нора.

— Сегодня я готова отвечать на любые вопросы. По инерции.

— Когда вы пришли к нам, в группу Титана, помнится, у вас были прекрасные длинные волосы...

Она рассмеялась:

— Всего-то? Я их срезала. Они слишком нравились одному человеку.

— За вами толпами ходят поклонники...

— Да, правда. К сожалению, правда.

— Почему к сожалению?

— Мешают работать. И вообще... жить мешают.

— Нора... Коли уж зашла речь о вас... позвольте на правах друга еще один вопрос личного характера. Вы такая молодая, такая красивая — и всегда одна.

— Не такая уж молодая, Жюль Иванович. Мне тридцать восемь...

— Господи, тридцать восемь!

— И у меня двенадцатилетний сын. В Мирном, в музыкальной школе.

— Но вы не ответили на мой вопрос!

Нора подняла на него удивленные глаза.

— Странный вы сегодня. И вопросы странные. Старомодные. Но вам я отвечу. Я любила одного человека и потеряла его. Другие меня пока не интересуют.

— Никто? — Его голос дрогнул.

Нора погладила его холодную руку, вцепившуюся в подлокотник кресла.

— С тех пор я превратилась в ледышку, дорогой Жюль Иванович. В настоящую космическую ледышку.

— Именно поэтому вы так легко справляетесь с ледовыми проблемами? — пошутил он без улыбки.

Как бы она хотела сейчас помочь ему, облегчить его страдания! Если бы существовала какая-то другая женщина, отвергающая «великого Жюля», уж Нора потолковала бы с нею! Но как потолковать с собой? Она ценила Жюля Ивановича, пожалуй, больше всех своих знакомых. Он наиболее соответствовал ее идеалу человека. Может, потому, что в нем было много от прошлого. И много от будущего. Даже внутри института далеко не все знали, что «великий Жюль» и скромняга Жюль Иванович — одно и то же лицо. Но уж кто-кто, а Нора знала его. Знала, что Жюль Иванович открыл теплые полости под вечными льдами Титана. Что, рискуя собой, спустился «в преисподнюю», к самым магматическим потокам. Что обнаружил там «споры» — неведомую дотоле форму жизни. Что, желая доказать безвредность «спор» для человека, в течение сорока дней пил воду из донных озер полости. Что, сделав эти поистине сенсационные открытия, сумел остаться незамеченным, почти безвестным. Да, Жюль Иванович, создавший новую школу в науке, заново открывший для человечества Титан, органически не выносил никакой шумихи вокруг своего имени. А кроме того, Нора была

лично обязана ему чуть ли не всем. Темой. Азартом работы. Душевным равновесием. Именно он «заразил» ее Титаном. Если бы не эта работа, в которую она окунулась с головой, как бы она выкарабкалась тогда?..

— Скажите, Нора, — голос Жюля Ивановича долетел до нее словно издалека. — А Руно Гай, знаменитый Руно Гай... не родственник вам?

Она рассмеялась весело и беззаботно:

— Ну и шутник вы! Руно Гай — герой, почти легенда, а я обыкновенная женщина, самая земная. Всего лишь однофамилец. Гаев на Земле миллионы. Как Смитов, как Ивановых. Впрочем, я видела его как-то на космодроме. Интересный мужчина.

— Наверное, это должен был сказать вам не я, Нора. Но кто-то должен сказать. Нельзя так, милая! Вы же губите себя! Неужели не осталось никаких путей к примирению?

— Спасибо, Жюль Иванович, но... я сама... сама разберусь. И позвольте отплатить откровенностью за откровенность: вы самый замечательный на свете человек. Лучший мой друг. Даже единственный. У меня не осталось никого, кроме сына и вас.

Он молча поцеловал ей руку.

В своей комнате Нора устало растянулась на диване и закрыла глаза. Вот и настал день ее триумфа, ее звездный час. Сбылись мечты. А счастья нет. Нет и даже не маячит на горизонте. Так уж устроена женщина: мало ей любимой работы, уважения, почета, друзей — непременно подавай личное счастье. Маленькое, теплое, уютное. Чтобы кто-то был рядом. Любил. Шептал нежные глупости. А без этого и жизнь не жизнь. Старо, как мир. И как мир, вечно...

Она резко поднялась, тряхнула головой по привычке... по давней привычке, оставшейся еще от тех лет, когда у нее были длинные волосы, и включила море. К ее ногам подкатила волна, плеснула, обдала прохлад-

ной сыростью, соленым запахом океана. С ворчливым криком пролетела чайка. Вдали покачивалась на волнах белая точка парусника. Неторопким шагом подымался в гору рыбак со спиннингом...

Вспомнилось страстное выступление Жюля Иванова на недавнем диспуте: «Прошлые поколения представляли коммунизм обществом, когда люди будут обеспечены всем необходимым и вследствие одного этого счастливы. Да, отвечаем мы, обеспечены всем жизненно необходимым: захватывающей работой, знаниями, искусством. Да, общественно счастливы. Но да здравствует вечная неудовлетворенность ученого, изобретателя, поэта! Да здравствуют вечные муки творчества! Да здравствует вечная погоня за счастьем личным! Покуда есть от чего страдать, что преодолевать, к чему стремиться, человек будет счастлив!» Тогда она не поняла, а ведь он говорил это для нее. Для нее... и для себя тоже.

Есть где-то на свете один человек, к которому она стремится. И вроде бы нет его. Человек по имени Руно Гай. Однофамилец...

4

Случилось то, что даже внутри таких крупных метеоритных потоков, как «Золотой Петушок», случается раз в сто лет.

В один из четырех двигателей угодил крупный метеорит, защитное поле не выдержало, обшивка корпуса в кормовой части лопнула, двигательную камеру своротило на сторону и поставило почти перпендикулярно к корпусу, но, что хуже всего, сам двигатель продолжал работать как ни в чем не бывало. «Профессор Толчинский» бессмысленно вертелся вокруг оси, как взбесившаяся собака, догоняющая свой хвост.

Бортинженер Другоевич, еще не зная, что произошло, изрыгая давно забытые проклятия, кое-как добрался до пульта управления. Его кидало из стороны в сторону, ударило боком о приборный ящик, и все же он сумел, отплевываясь кровью, кувыркаясь и протирая слезящиеся глаза, втиснуться в кресло и защелкнуть ременный замок.

Прежде всего он должен был сориентироваться в обстановке, даже прежде, чем попытаться стабилизировать судно и оказать помощь пострадавшим. Он уже взялся за рукоять аварийного отключения реактора, когда заметил, что пульта первого и третьего двигателей безжизненны — очевидно, сработала автоматика. После общего отключения погас и четвертый. Но второй продолжал работать! Отключенный реактор гнал в него плазму! Стрелки на шкалах второго точно с ума посходили, пульт пестрел разноцветными перемигивающимися огнями — полная иллюминация. Другоевичу некогда было разбираться в этой абракадабре, да еще в положении то вверх ногами, то на боку. Здравое рассудив, что второй основательно поврежден и связываться с ним, не разобравшись, что к чему, не следует, а первый и третий отключены автоматикой, стало быть, тоже не вполне надежны, Другоевич, манипулируя возможностями четвертого двигателя, несколько сбавил темп вращения, и болтанка поутихла. О полной стабилизации судна нечего было и думать, но теперь, когда одна из стен превратилась в пол, зыбко вращающийся под ногами, можно было прийти в себя.

С трудом распахнув ударом ноги заклинившуюся дверь салона — здорово же повело «Профессора», — Другоевич увидел такую картину. На полу, то бишь на бывшей стене, положив голову на гравюру «Охота на львов в Африке», распластался Мелин, возле него хлопотал невозмутимый, без единой царапинки, Бентхауз, трогал плечо, ключицу и спрашивал:

— А так? А так?

Мелин только постанывал. В углу сидел мрачный Церр и, задрав штанину, с гримасой страдания на лице массировал себе ногу выше колена. На лбу его красовался изрядный синяк.

Окинув Другоевича взглядом, Бентхауз улыбнулся своей обычной, нисколько не изменившейся улыбкой, точно ничего не произошло.

— Выходит, бедняге Мелину досталось больше всех: похоже на перелом ключицы. Можно сказать, космическое крещение. Но ничего страшного, коллега Церр — дипломированный лекарь. Заговаривает испуг, пускает кровь, вправляет вывихнутые мозги. Надеюсь, капитан уже устраняет... неполадки?

Только тут вспомнил Другоевич о капитане. Его сразу потом прошибло. Если Ларри Ларк успел добраться до исследовательского отсека... это же совсем рядом со вторым!

Бентхауз понял его без слов. Оба помчались опрокинутым вихляющим коридором, хватаясь за плафоны.

— Там повышенная радиация! — крикнул Другоевич. — Вам бы лучше вернуться.

Бентхауз махнул рукой.

Минут через пятнадцать им удалось выбить дверь. Ларри Ларк висел вниз головой на стене исследовательского отсека, и ноги его были придавлены массивной плитой затвора катапульты. С откинутой руки часто-часто падали черные капли.

Когда в салоне капитан пришел в себя, его бескровное лицо перекосила мгновенная судорога улыбки:

— Поймали-таки метеорит. Да только не в ловушку... — Он закрыл глаза, облизнул спекшиеся губы, спросил: — Ноги-то как? До свиданья... ноги?

— Н-не совсем, — растерялся Бентхауз, но сразу взял себя в руки. — Ноги пока при вас, капитан, но

бедренные кости обе... К счастью, Церр — первоклассный врач.

Подошел Церр, злой, будто кто-то нарочно, чтобы только ему насолить, устроил эту аварию. И в то же время решительный, собранный, волевой, как главный хирург перед показательной операцией:

— Никаких разговоров с больным! Быстро горячую воду, бинты, шины, стабилизаторы, микрошприц, ультрамицин! Быстро, пожалуйста! Да, рентгеновские очки есть?

— Есть.

— Быстро, я говорю! Большая потеря крови.

Через полчаса, когда Церр оказал необходимую помощь Ларри Ларку и принялся за Мелина, когда с помощью внешней передвижной телекамеры и контрольных замеров удалось установить характер повреждений, когда выяснилось, что второй двигатель абсолютно неуправляем, более того, висит на волоске, а первый и третий подозрительно барахлят, вероятно, вследствие деформации корпуса, — Другоевич передал в эфир сигнал SOS.

5

— Обстановочка такова, — сказал Другоевич, по очереди оглядывая Мелина, Бентхауза и Церра (Ларри Ларк еще не пришел в себя после наложения шин). — Наш SOS поймали три ближайших бакена, 343, 344 и 345-й, значит, база уже принимает меры. Однако на расстоянии недели пути нет ни единого судна, способного оказать нам помощь. Следовательно, самое разумное в создавшейся ситуации — причалить к ближайшему триста сорок четвертому бакену. По крайней мере, капитан будет избавлен от этой карусели.

— За сколько часов мы доберемся до бакена? — ни на кого не глядя, спросил Церр.

— При наших теперешних возможностях — примерно за трое суток.

— Вы с ума сошли! Положение капитана слишком серьезно. Мы должны двинуться навстречу спасателю, как только получим его координаты.

— Что значит двинуться? — пожал плечами Другоевич. Похоже, он даже не пытался скрывать своей неприязни к Церру. — Повторяю, мы располагаем только одним исправным двигателем, причем восемьдесят процентов его мощности уходит на стабилизацию судна. Таким образом, на тягу остается двадцать. Пострадавший двигатель неуправляем, отключить его мы не в состоянии, так что он будет работать, но работать против нас, поглощая энергию исправного, поддерживая напряженную аварийную ситуацию и не позволяя запустить два других двигателя. Надеюсь, понятно?

— Отпластать бы его лазером, и весь разговор! — ляпнул Мелин.

— Не морочьте голову пассажирам, — одернул его Другоевич. — Конечно, отрезать висящую на одной обшивке двигательную камеру — значит решить все проблемы. Однако подобные операции проводятся только в стационарных доках.

— Дорог каждый час, а мы теряем трое суток, — стоял на своем Церр.

— Останемся ли мы на месте, двинемся ли к бакену или поползем навстречу спасателю — семь суток есть семь суток, — терпеливо повторил Другоевич. — Для судна на полном ходу это практически безразлично. Но больному небезразлично, где находиться — здесь или на...

— Вы уже повторяетесь, Другоевич! — тихим, но властным голосом прервал его Церр.

Ситуация складывалась своеобразная. С одной стороны, выход из строя Ларри Ларка автоматически возлагал на Другоевича капитанские обязанности, в

том числе единоличную ответственность за судьбу больного. С другой стороны, Церр, как врач, отвечающий за жизнь пациента, имел все права диктовать свои условия. Похоже, Церр первым решил пойти ва-банк. Но и у Другоевича оставалась козырная карта.

— Я вынужден повторяться до тех пор, пока меня не поймут. Кроме изложенного выше, сближение с бакеном дает нам дополнительные шансы...

— Какие?

— Если бакенщик сумеет остановить мешающий нам второй двигатель, я рискну запустить первый и третий. Тогда мы выгадываем двое суток, выйдя навстречу кораблю, на котором есть госпиталь и настоящий врач.

— Я тоже настоящий врач, — буркнул Церр, но его уже никто не слушал.

— Как может бакенщик остановить двигатель? — поинтересовался Бентхауз.

— Самым примитивным способом — перекрыть плазмопровод.

— То есть как это перекрыть? Там что, вентиль?

— Кувалдой, — неожиданно раздался насмешливый голос Ларри Ларка. — Обыкновенной кувалдой.

Все уставились на него. Неясно было, слышал ли он разговор с самого начала, в состоянии ли принять в нем участие.

— Другоевич прав, — подтвердил Ларри Ларк. — Это оптимальный вариант. — И снова закрыл глаза, может быть, заснул или впал в забытие.

Бентхауз сильно потер лоб ладонями.

— А почему мы своими силами не можем перекрыть плазмопровод? Что, у нас нет кувалды?

Мелин хихикнул. Однако Другоевич вынужден был и это объяснить.

— По двум причинам. Во-первых, дверь наружного люка заклинило из-за деформации корпуса. Мы в со-

стоянии выломать ее, но это значит, всем придется немедленно покинуть судно. Бакенщик же сможет открыть ее с помощью обыкновенной лебедки. Во-вторых, в том месте, где есть шанс перекрыть плазмопровод, а именно — в двигательной камере, радиация такова, что нечего и соваться туда в наших легких скафандрах. У бакенщика же имеется стационарный скафандр.

— А в стационарном можно туда соваться, это точно? — спросил Бентхауз.

— Надеюсь, — не очень-то уверенно ответил Другоевич. — Сам двигатель целехонек. Впрочем, попробую замерить уровень радиации в этом пекле.

Когда Другоевич вышел, Мелин взял разговор в свои руки. Стажеру нравилось выказывать себя бывалым космонавтом.

— В поврежденной камере может быть все, что угодно. Вплоть до утечки плазмы. А коли так, стационарный скафандр тоже не пустит.

— Как это не пустит? — явно подыгрывая новичку, изумился Бентхауз.

— У стационарного ограничитель. Вообще стационарный скафандр — это целая мастерская, надетая на человека. Нечто вроде одноместной космической лодки. И есть на нем ограничитель радиации. То есть он сначала предупреждает, что, дескать, в этой зоне находится опасно, а потом попросту дает задний ход — независимо от воли хозяина. Адски строгий механизм.

— Интересно-о-о, — протянул Бентхауз.

— Мелин отлично освоил технику, — не то с гордостью, не то с иронией проговорил, не открывая глаз, Ларри Ларк.

Вошел Другоевич, сообщил, ни к кому персонально не обращаясь:

— Превышает допустимую. Почти вдвое превышает.

— Вот видите! — Церр даже вскочил от возбуждения. — Значит, двигаться к бакену бессмысленно.

— Почему же, — возразил Мелин. — Если бакенщик ничего не придумает с плазмопроводом, по крайней мере, откупорит нас и вытащит из этой центрифуги.

— Как я понимаю, многое зависит от бакенщика, — усмехнулся Бентхауз. — Кстати, кто там бакенщик?

— Ничего от бакенщика не зависит! — рубанул Другоевич. — Имеется строжайшая инструкция, запрещающая превышать допустимый уровень радиации при работе в скафандре.

— Бортинженер отлично знает инструкции, — опять вклинился в разговор Ларри Ларк. Было похоже — он окончательно пришел в себя.

— А фамилия его... где-то ведь я записывал...

— Можете не трудиться, — остановил его Церр. — Бакенщика с 344-го зовут Руно Гай.

— Вы знаете его? — удивился Другоевич.

А Мелин воскликнул:

— Уж не тот ли самый Руно Гай?!

— Да, тот самый. К сожалению, очень хорошо знаю. Поэтому и возражал против вашего предложения. Это авантюрист, не гнушающийся ничем, чтобы прославиться, способный на любой шаг, лишь бы...

— На бакенах не работают авантюристы, — четко, каждое слово по отдельности, проговорил Ларри Ларк. Бентхауз расплылся в улыбке:

— По-моему, все идет прекрасно, коллега Церр. Лично я обожаю авантюристов, нарушающих инструкции и не боящихся ничего и никого на свете. Больше того, без авантюриста мы пропали. Предлагаю дать еще один SOS: «Срочно требуется авантюрист!»

Вопреки всякой логике Церр пошел на попятную:

— А ведь, пожалуй, верно. Что-то в этом есть. Какой-то шанс. Только вы ему не говорите про меня, Другоевич.

Несколько прямолинейный, воспитанный на кодексе космической чести Другоевич всдылил:

— Что вы на борту «Профессора Толчинского», он уже знает. И узнает уровень радиации, будьте покойны. Я ничего не собираюсь скрывать.

Церр огорченно опустил на пол.

— Если он знает, что я на борту, лучше не рисковать. Вы даже не представляете, что это за человек. А на меня он давно точит зуб...

— Судно берет курс на 344-й бакен, — подвел черту Другоевич и вышел из салона, плотно прикрыв дверь.

Дискуссию следовало считать оконченной.

— А что это за человек, Церр? Вы мне о нем никогда не рассказывали.

— Я вам много о чем не успел рассказать, Бент.

— Так расскажите, у нас есть время. Как-никак трое суток. Без малого тысяча и одна ночь.

6

— Начать с того, — заговорил Церр, и глаза его колюче уставились на слушателей из-под нависших седых бровей, — что этот тип психически ненормален. Нет, нет, речь идет не о заболевании, скорее о патологическом развитии личности. В то время, когда мы делаем все возможное, чтобы избежать опасности для жизни человека, свести ее к минимуму, — а в этом, собственно, цель развития цивилизации, — Руно Гай без опасностей жить не может и ухитряется искусственно создавать их всюду, где бы ни появился. Жонглирование жизнью, все равно, своей или чужой, стало для него потребностью. Оно ему нервы щекочет, повышает тонус, создает иллюзию самоутверждения. В старину, чтобы вызвать подобный эффект, отравляли себя алкоголем...

На Марсе мне рассказал один товарищ, Никандр

Савин, что его и на бакен-то удалось столкнуть, только наобещав разных разностей: напряженная трасса, ненадежность автоматики, вероятные ЧП... Да к тому же грозный «Золотой петушок».

— Но ведь «Золотой петушок» и в самом деле... — вставил Мелин.

— Петушится, — усмехнулся Бентхауз.

Нетерпеливым движением руки Церр отмел всякие возражения.

— А что он до этого сотворил, вы, наверное, слышали. Даже газеты, в общем-то весьма благосклонно относящиеся к так называемым «подвигам», осудили его за ухарство и безрассудство. Этот самый Руно Гай отправлял в систему Юпитера товарную ракету со взрывчаткой, и что-то заело в топливном клапане, так он вместо того, чтобы отложить старт, проверить, исправить, сам влез в автомат и махнул к Юпитеру. Полная ракета взрывчатки, неисправный клапан — и человек на борту. Представляете, какой поднялся переполох? Весь Марс три ночи не спал...

— Но ведь все кончилось благополучно? — подмигнул Мелину Бентхауз.

— Не в этом дело. Дело в пристрастии к риску, ненужному, неоправданному риску.

— Я, кажется, слышал про этот случай, — опять вклинился Мелин. — Взрывчатка-то нужна была срочно. Там люди сидели на пути лавины, целая исследовательская станция. И газеты как будто бы даже хвалили Гая. В свое время я часто читал о нем...

Церр отмахнулся, как от мухи.

— Детали! Или вот вам еще. Когда на Венере началось извержение вулкана Жерло, этого огненного колосса, — помните, шумная дискуссия была? — наш молодец, ни у кого не спросившись, без подстраховки, на обычном исследовательском катере, еще с двумя такими же авантюристами на три километра опустил

в кратер. Туда, в раскаленную трубу, в крошечный ад. И в решающий момент реактивная тяга едва не отказала...

— Но ведь не отказала? — подмигнул и Мелин.

— Да-а, смельчак, — задумчиво протянул Бентхуз. — Хотел бы я с ним познакомиться.

— Познакомитесь, Бент. Однако радоваться абсолютно нечему, уверяю вас. Для «Толчинского» было бы куда приятнее не попадать в ситуацию, чреватую знакомством с этим «героем», — непременно доведет до беды. Подобных историй я мог бы рассказать не меньше десятка.

— Но вы-то знаете его, Церр? Лично?

— Лучше бы я его не знал! — в порыве искреннего чувства воскликнул Церр и уронил голову на грудь.

На минуту в салоне воцарилась тишина. Мелин потер перевязанное плечо, поморщился и поудобнее устроился на упругой панели под креслом, привинченным к бывшему полу, а ныне стене. Ларри Ларк открыл глаза, оценил обстановку — и снова как бы исчез для присутствующих.

— Это произошло в Якутии, возле Полярного круга, на реке Муоннях. Я заведовал там рыбопроизводной станцией, и нам за два десятка лет напряженного труда удалось вывести перспективнейшую породу пресноводной рыбы. Может быть, слышали, «церроус хандзеен», «рукотворная Церра»? Собственно, даже не вывести — создать заново, из ничего, как господь бог. Бесподобная, скажу я вам, получилась рыбка. И двадцать лет, лучшие годы жизни, день за днем... Вместе со мною работала и моя единственная дочь Анита, тоже ихтиолог.

А выше по реке стоял заводик по производству БТ, универсального растворителя для чистки топливopроводов в химических ракетах. Теперь этот яд уже не вы-

пускают, отпала в нем нужда. Так себе заводик, небольшой устаревший полуавтомат, но подчинялся Совету Космофлота. Руно Гай служил там сменным инженером, добился такой чести за очередной «подвиг», не помню уж, за что именно.

Жили мы в одном отеле в Жиганске, на работу летали в гравии, там рукой подать, каких-нибудь двести километров. И я даже не то чтобы сдружился, но вынужден был водить компанию с этим типом, хотя он мне с самого начала был антипатичен. Все-таки соседи. Да и дочка моя Анита подружилась с его женой Норой. Обаятельная, знаете ли, женщина — Нора Гай. Умная, добрая, принципиальная, не муженьку чета. А когда женщины становятся подругами, тут уж, сами понимаете, начинается хождение в гости, совместные прогулки и прочие старомодные проявления взаимных симпатий. Так что я этого Руно как облупленного знаю.

Вообще сменный инженер на заводе — все равно что дублирующее контрольное устройство, случись что — любой мальчишка справится. А этот супермен с его показушным героизмом не сгравился. И бед натворил. Раз в жизни выпал ему случай, когда действительно требовалось проявить... даже не героизм — обычную выдержку, самообладание, хладнокровие. Увы, он оказался на это не способен.

Не знаю уж почему, взорвался у него там бак с этим ядом БТ. Ну, оповестил бы округу как положено, вызвал рембригаду, поднял тревогу, наконец, и все уладилось бы. Так нет, едва взорвался бак, тут и почуял его нос милый сердцу запах опасности, и помчался Руно Гай сломя голову никому не нужные подвиги совершать. С пожарной лопаткой против потока ядовитой жидкости. И подвига не совершил, и сам едва не растворился в этом универсальном растворителе. Да лучше бы уж растворился, чтобы в будущем людям

жизнь не отравлял. Но нет, остался жив, откачали. А вот рыбок мне всех потравил, всех до единой — сплавил в реку поток яда. Представляете — двадцать лет жизни!

Меня как раз на станции не было, одна Анита. А тут запоздалое оповещение: вот-вот достигнет БТ наших садков. Она, Анита, плавала у меня прекрасно... ее даже Русалочкой прозвали. Бросилась в реку, чтобы спасти хоть несколько племенных экземпляров... и все. Уже не выплыла... Девочка моя...

Церр отвернулся, сгорбился еще больше и заплакал. Некрасиво, по-стариковски.

Мелин и Бентхауз подавленно молчали. Только сейчас до конца понял Бентхауз, откуда у его товарища такой скверный характер. Понял — и пожалел о постоянных своих шуточках.

Церр быстро взял себя в руки, высморкался и закончил твердым голосом:

— Суд, как водится, вынес ему порицание, по сути, оправдал. Наш гуманный суд, который не карает за ошибки, непредвиденно вызвавшие тяжелые последствия. И это тем более странно, если учитывать, что суд — страж социальной морали, а в основе морали коммунистического общества лежит, как я понимаю, благополучие. Общественное и личное благополучие, то есть справедливость в распределении благ и безопасность. Не так ли? Короче говоря, «герою» вынесли порицание и отправили на Марс рядовым диспетчером грузоперевозок. Что называется, шуку бросили в реку. Ничему ведь это его не научило. Там-то, на Марсе, и залез он в ракету со взрывчаткой. И все же справедливость восторжествовала. Хоть частично, да восторжествовала. Его жена, Нора, эта умная и самостоятельная женщина... она сама его покарала. Уже пять лет, как Нора Гай не жена Руно Гаю. А ведь он любил ее,

надо отдать ему должное, как только может любить подобный сумасброд. Необыкновенная женщина! У Ани-ты было чутье на хороших людей...

7

Уже вторые сутки Руно Гай сидел без малого на одном кофе и все-таки никогда еще не чувствовал себя таким тупым, ограниченным, бездарным. Голова оставалась пустой. Вот уж ситуация — как в волшебной сказке: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что»! Азбучный пример неразрешимой частной проблемы. И все же за двадцать шесть часов, оставшихся до прибытия судна, он обязан что-то придумать. Прорвать заколдованный круг. Перепрыгнуть через себя. Как?

Единственное, что он мог сделать, — забрать пострадавших на бакен, но тогда судно теряло трое суток, трое драгоценных суток, лучше бы уж оно сразу двинулось потихоньку навстречу спасателю. Однако на «Толчинском» приняли решение идти к бакену, стало быть, рассчитывали на что-то большее, чем твердый пол под ногами. И правильно рассчитывали: когда жизнь человека в опасности, любой служащий Космофлота обязан сделать все возможное...

«Нет, выход должен быть! — твердил себе Руно, забыв и думать о том, что бакен раскачивается под его тяжестью. — Существует же он объективно, этот выход, остается лишь найти его. Только надо мыслить широко, раскованно, смело. Как в старинной песне — «смелого пуля боится, смелого штык не берет». — Он резко остановился в углу операционного отсека, лицом к стене. — А что же такое штык? Спортивный снаряд? Или утварь какая-то? Забыл. Ну и черт с ним, со штыком, не до него...»

Мысленно он вернулся к радиограммам Другоевича.

Ему вдруг показалось, что он упустил нечто хотя и второстепенное, но существенное, за что можно зацепиться. Из технических деталей? Из описания аварии? Едва ли. Тогда что же? «Золотой петушок»? Метеоритная ловушка? Тяжело раненный капитан?

Ларри Ларк... Руно хорошо знал это имя. «Неистовый Ларри» — так звали его в те времена, когда Руно Гай зеленым юнцом пришел на Космофлот. Решительный, безрассудно смелый, не признающий никаких «нет». Такие, как он, торили дороги в Ближнем Космосе, определяли и наносили на звездную карту орбиты метеоритных потоков, годами дрейфовали внутри различных «Петушков» и «Рыбок» на обычных, без метеоритной защиты, судах. Потом он принимал участие в установке системы бакенов, испытывал первые корабли с защитной оболочкой, ходил к Плутону. А теперь вот, чтобы только остаться в космосе, согласился водить обыкновенную телегу. Да, человек достойный. И все-таки зацепка не здесь. Где же?

Руно до последнего слова помнил текст всех радиogramм. Но, может быть, интонация? Он включил запись, и в отсеке зазвучал голос Другоевича — спокойный, подчеркнуто бесстрастный. Однако в одном месте эта бесстрастность дала трещинку. Крошечную, почти незаметную, но Руно сумел уловить ее своим обостренным чутьем: «На борту два пассажира, возвращающиеся со станции «Титан-4», — океанолог Церр и геолог Бентхауз». Кто-то из них двоих был не по душе неведомому Другоевичу. Но кто?

«Разумеется, Церр!» — не рассуждая выбрал Руно. Само слово звучало враждебно его слуху, любой человек с этой фамилией невольно вызывал неприязнь. «Еще один Церр на моем пути», — успел подумать он, прежде чем понял, что это не другой, это тот самый Церр! Так вот оно что! Правда, у того была абсолютно земная профессия — ихтиолог, а этот назван океанологом. Потому-

то Руно поначалу и не обратил внимания на столь незначительную «деталь». Но это он, без сомнения, он! Значит, ситуация меняется?

По идее, ничего не менялось. И все-таки менялось все. Ситуация стала «личной». Церр! Это был единственный на свете человек, к которому Руно испытывал неодолимую антипатию. Человек, порочивший его всюду, где только мог. Мелкий, жестокий и трусливый, вообще недостойный зваться человеком. А главное, из-за этого Церра он потерял Нору. И с таким человеком столкнула его судьба в решающий момент!

Вмиг вспомнил Руно все, что старался забыть вот уже пять лет. Память безжалостно вернула его туда, на речку Муоннях, в ту грозовую ночь...

Гроза разразилась такая, каких он в жизни не видел на Земле. Это было нечто космическое, венерианское — разнузданное буйство циклопических высших сил! Нечто пугающее, подавляющее, заставляющее вновь почувствовать себя первозданным человеком в шкуре и с дубинкой в руках: ты один, маленький и беспомощный, а против тебя весь мир, и вот-вот обрушится на тебя небесная твердь!

Он сидел за пультом, перед ним фиолетово плавилась массивная стеклянная стена. От ударов грома здание подскакивало и мелко дрожало. До конца смены оставалось немногим более получаса, когда его ослепила яростная вспышка молнии. Одновременно с нею за спиной раздался треск. Это было не похоже ни на гром, ни на взрыв, ни на что другое. Будто кто-то огромный одним махом распластал лоскут ткани величиной с полнеба.

Спокойно, тем же ровным голосом, каким передавал SOS Другоевич, он сообщил об аварии в Жиганск. Подумал несколько секунд, сменил на всякий случай диапазон и сдублировал оповещение, добавив на этот раз, что уточнит положение дел и снова свяжется с Жиган-

ском. Рассчитывать на скорую подмогу не следовало: все равно аварийная команда не прилетит, пока не утихнет гроза.

Руно был уверен, что повреждена одна из емкостей для хранения БТ, — ему показалось, взрыв раздался со стороны емкостей, да и характер звука говорил о том же. Едва передав оповещение, он повернулся в кресле к щиту коммуникаций, чтобы выяснить, не показывает ли автоматика утечки. Тут опять полыхнула молния, и свет погас. Вероятно, где-то перебило линию электропередачи. Пульт управления заводом погрузился во тьму, и Руно остался один, совсем один в стеклянном, пылающем снаружи ящике. Без помощников — думающих, считающих, управляющих производственными процессами, загружающих сырье, контролирующих температуру, давление, химический состав, запускающих и останавливающих агрегаты, устраняющих неполадки и сообщающих обо всем этом на пульт. Неуютно же почувствовал он себя, оставшись один на один с заводом. Как без рук и без глаз. Но раздумывать было некогда. В полной темноте кое-как влез он в аварийный комбинезон, натянул защитную маску и выскочил на территорию.

Теперь молнии помогали ему, то и дело пронизывая ночной мрак. Запыхавшись, он бежал мимо шеренги исполинских, с двадцатипятиэтажное здание, зеркальных бидонов, по которым ветвились фиолетовые зигзаги и металась жалкая человеческая фигура. Уже возле пятого или шестого резервуара он понял, что пробило одну из следующих емкостей: густая тяжелая жидкость медлительным ручейком ползла возле труб. За шиворот Руно точно льдинку опустили — жидкость проест незащищенные сверху керамической броней трубы, внутреннее давление разорвет их, и тогда не одна, а все двенадцать емкостей дадут течь. Ядовитый ручеек превратится в реку... Значит, заводу конец. И не только заводу. Пострадает вся округа: леса, поселки, водохранилище, дикие звери,

птицы и рыбы... Среди беспокойного роя мыслей мелькнуло и это: юркие серебристые мальки Аниты... Решение пришло мгновенно: надо отвести от трубопровода этот клейкий ручеек, отвести в овражек, выкопать пять метров канавки, только и всего. А уж аварийщики потом займутся овражком и всем остальным.

С трудом отыскал он среди пожарного инвентаря тяжелую бутафорскую лопату и принялся ожесточенно копать. Через пять минут маска запотела. Через десять Руно начал задыхаться. Он знал, что БТ испаряется, что ядовитые пары очень скоро пропитают защитные фильтры маски, но ему оставалось совсем немного... полтора метра... метр... полметра...

Вместе с грунтом лопата швыряла уже липкую и вязкую жидкость, устремившуюся в новое русло. Лопата, конечно, пропала. Но это не так уж плохо, если список потерь ограничится одной лопатой. Еще немного, совсем немного...

Гроза начала утихать, вот-вот прилетят ребята из аварийной команды, переключат сток из овражка в реку. А не успеют — тоже не беда: несколько обезвреживающих бомб в реку, районное оповещение, и люди сумеют принять меры. Главное, докопать, пока не отказала маска. Ну, еще малость...

Ему хотелось пить, нестерпимо хотелось пить. В горле, в груди першило. На столике возле пульта остался сифон с холодной водой. «Пусть тут ребята возьматся, — решил Руно, — а я буду пить, пить. Потом вызову Жиганск, попрошу дать районное оповещение. Вызову Церра — убирайте-ка на всякий случай свои садки в закрытый водоем. И уж после всего вызову Нору. Как там Нора, верно, волнуется? Уж не напугала ли ее гроза? А вдруг она прилетит вместе с аварийщиками? Вот было бы здорово...»

Еще три движения лопатой... Еще два... Руно почувствовал, что теряет сознание. Ну, еще одно! Только одно

движение! Без него все проделанное теряет смысл. Да возьми же себя в руки, черт возьми!..

Когда прибежал сменщик, Руно лежал на кучке смешанной с БТ земли, крепко стиснув в руках лопату, а мимо катилась в овраг целая река ядовитой жидкости. Сменщик сразу же отволок его подальше от потока, сорвал маску, начал делать искусственное дыхание. Пульс появился, но в сознание пострадавший не приходил. Требовалось срочное вмешательство врача.

К счастью, сменщик успел вовремя. Задержи его гроза не на десять, а на пятнадцать минут, было бы поздно. Прилетев, он, к изумлению своему, не обнаружил Руно за пультом. На территорию дежурные инженеры выходили редко, поэтому сменщик, заподозрив неладное, включил запись переговоров. Его удивило, что аварийщики еще не прибыли — времени было предостаточно. Впрочем, успокоил он себя, сегодня у них дел по горло, только что восстановили подачу электроэнергии. Бросившись на подмогу Руно, он застал его бездыханным у потока БТ. Полчаса ушло на оказание первой помощи. Когда сменщик связался наконец с медпунктом, дежурный врач вспылил: «Почему не дали оповещение?» — «Оповещение дали, — заверил сменщик, — а почему вы его прошляпили, вам лучше знать». И лишь через два часа, когда врач сделал свое дело, удалось выяснить, что аварийное оповещение действительно не было принято в Жиганске: грозовой разряд повредил аппаратуру. Таким образом, и районное оповещение ушло в эфир только утром. На рыбобразводной станции его приняла Анита.

Ах, Анита, Анита, маленькая русалочка! Она не задумываясь бросилась в реку, чтобы спасти своих рыбок.

Этого Руно не мог себе простить — она стояла перед ним как вечный укор. Живая, смеющаяся, отчаянная Анита. Кокетливый восемнадцатилетний ребенок. Милое,

доверчивое, обаятельнейшее создание. Уже не девчонка, но еще не женщина. Руно не был ни в чем виноват, сам едва не погиб — и все-таки вина камнем лежала на сердце. Уж кто-кто, а она поняла бы его. Она сама была такая. И все же...

Однажды зимой, во время ледостава, он разыграл Аниту. На спор с кем-то взялся выкупаться среди льдин, заплыл довольно далеко — и вдруг увидел на берегу ее. В пушистой шапочке, в белом электросвитере, совсем девчонка. Он закричал «Тону!» — и давай нырять, махать руками, пускать пузыри. Ни секунды не мешкая, она сбросила сапожки и с разбегу метнулась под льдины. С ума сойти, как он перепугался: ребенок же, а тут льдины прут! И как потом отчитала его за эту выходку Нора!

А через несколько дней Анита, отчаянно глядя в глаза, спросила, точно под лед нырнула: «Руно, если бы на свете не было Норы, вы полюбили бы меня?»

Она сама была такая же, Анита, она поняла бы его. А вот папаша Церр — нечто противоположное. Как это не раскусила его Нора? Просто удивительно, каким доверчивым может оказаться человек. И каким низким может оказаться другой человек, в общем-то отнюдь не глупый. Будто вся его желчь, выплеснутая на Руно, способна хоть на секунду оживить Аниту!..

«А теперь ты и сам попал в переплет, Церр. И, судя по всему, надеешься на Руно Гая. Ясное дело, «Толчинский» взял курс на бакен с согласия врача, без Церра Другоевич не мог принять решение. И опять, что бы я ни сделал, ты будешь до конца своих дней хулить меня. Что за напасть, хоть зубри инструкции, чтобы ни на шаг от них не отклониться. Хоть садись и сиди сложа руки, чтобы меньше потом досталось тумачков. Верное слово, так и сделал бы, коли б не Ларри Ларк! Но ведь там и другие, — напомнил себе Руно Гай. — Ну что ж, не было бы Ларри Ларка — спасал бы остальных. А если

бы там был один Церр? — безжалостно спросил он себя. И честно признался, вздохнув: — Ничего не поделаешь, спасал бы и Церра. Но откуда у человека столько желчи? И какой желчи! БТ по сравнению с ней — просто-кваша».

8

Легким шагом шла Нора по охотничьей тропе. Тропа петляла, огибая замшелые валуны, колодины, встававшие на пути сосны. Под ногами мягко пружинила подушка из мха и желтых сосновых игл, на которых иногда так приятно скользили подошвы. Она останавливалась, рассматривала то багровый лист рябины, то выводок поздних рыжиков, то серебристую узорчатую паутинку, прислушивалась к отдаленному перестуку дятлов, к шуму ветра в вершинах сосен — и все старалась сосредоточить на чем-то внимание, увлечься чем-то, как всегда увлекалась раньше в этом диком лесу, когда они гуляли здесь вместе с Руно, — и забыть обо всем. И она как будто бы увлекалась листом, дятлом, паутинкой, но вдруг снова ловила себя на том, что торопливо шагает, почти бежит по тропе. Куда? Зачем? Она не любила в себе эту привычку — вечно куда-то спешить, бежать, лететь. Но теперь уж поздно перевоспитываться. А может, оно и к лучшему. Во всяком случае, совсем не плохо промчаться на рассвете этой знакомой и уже забытой тропой. Даже если голова занята другим. Сегодня как раз такой стремительный бросок через тайгу отвечал ее тревожному внутреннему состоянию. Впервые за последние годы ей некуда было спешить, некуда бежать. Разве что от себя бежать.

Она вышла на косогор — и дали распахнулись перед нею. Сонная, подернутая легкой дымкой гладь водохранилища. Сосновый бор под горой. Два стеклянных купола гостиницы — один на берегу, другой, перевернутый,

в воде. А вдали, несколькими километрами дальше, — уходящая в небо башня Жиганска.

Нора сбежала с горы, пересекла молодой березничек и по каменистой тропке спустилась к берегу Лены.

Вот так же спустились они к реке вместе с Анитой. Снег слепил глаза, скользил под ногами. Анита убежала вперед, исчезла за причудливо заснеженными кустами, а когда Нора догнала ее, девочка, ни слова не сказав, бросилась в воду. Там, среди льдин, истошно орал и махал руками Руно. Поодаль стояли и ухмылялись его приятели-лесорубы. Нора сразу поняла, что он дурчится. А Анита... бедная доверчивая девочка...

Да, вот эти кусты. Здесь она стояла тогда, там «тонул» Руно. И опять всколыхнулось, взбурлило в ней все, что она тщательно старалась забыть эти пять лет, забыть и не тревожить в памяти, — всколыхнулось и встало перед глазами.

Черные искусанные губы, почерневшее от удушья лицо Руно, когда его привезли с завода... Песчаная отмель возле рыбоперерабатывающей станции, заваленная почерневшей, точно обугленной, рыбой... И маленький красный гроб — все, что осталось от Аниты. Ее так и не показали никому, даже отцу...

Трое суток Руно не приходил в себя, почти три месяца пролежал в специализированном госпитале в Швейцарии. Еще повезло, что сменщик успел буквально вырвать его из когтей смерти. Старенький, седенький врач в Давосе сказал: «Все решила одна минута».

«Если бы Руно в тот момент думал не только о заводе, а о возможных последствиях распространения яда... или хотя бы о себе, о собственной жизни! Но он не был бы тогда Руно Гаем. Тем Руно Гаем, которого я любила... И все еще люблю», — поправила себя Нора,

«Если бы Церр держал своих племенных рыбин и хотя бы часть мальков в закрытом бассейне, как это у них полагается! А он спешил вырастить их к открытию Всемирной выставки. Славы захотелось, признания, награды за многолетний труд. Иначе он не был бы Церром.

Или если бы Анита вспомнила о грозящей опасности, о своей молодой жизни! Но нет, и она не была бы тогда Русалочкой.

Бедная девочка, даже полюбить не успела. Какой красивый, непохожий на других, неповторимый человек! Она была совсем особенная. Мне, Руно, всем остальным мир представляется таким, каков он есть. А она жила в ином мире — ярче, свежее, бесшабашнее. И он создан был для нее, для нее одной. Вообще, сколько людей — столько и миров. Человек подобен вселенной. И когда гибнет человек, гибнет целая вселенная. Это ужасно, ужасно, это непоправимо — уничтожить целый мир. Юный, веселый, доверчивый мир Аниты. Это невозможно простить. Пусть он не виноват, пусть суд оправдал его, пусть он чист в глазах людей, но я-то знаю: такое не прощается. Я знаю это, и Руно знает, как бы ни старался заглушить голос собственной совести. Тот, кто вольно или невольно отнял у человека жизнь, недостоин любви. Тут уж меня никто не переубедит. Но почему же так тревожно на сердце?»

Первое время у нее все перепуталось: больной Руно, смерть Аниты, рыбы на пляже, купание среди льдин, убитый горем Церр... И ей почему-то казалось, что маленький гроб — следствие этой глупой шутки Руно, этого купания. Она понимала, все понимала, однако впечатление сохранилось. Впечатление ложное, но, может быть, именно в нем истина? Логика жизни, логика характеров?

Церр был прав: в нашем обществе, где человек, его благополучие, его счастье — главная цель всех усилий

многих людей, никому не позволено рисковать ни своей, ни тем более чужой жизнью. Пусть бы уж лучше взлетел на воздух весь этот завод — Руно должен был вызывать аварийную команду до тех пор, пока самолеты не обезвредили бы действие БТ по всей округе. Завод можно восстановить, а человека... Человек неповторим. Общество не может рисковать человеческими жизнями. А он...

А Руно всю жизнь твердил о праве на самопожертвование, на риск. Он был убежден, что без риска жизнь потеряет половину своей привлекательности.

«Лучше потерять половину, чем все, — сказал тогда подавленный случившимся Церр. — Это нелепость — добиваться счастья и процветания общества ценой человеческих жизней, превращать цель в средство». И Церр был прав, безусловно прав. Но почему же так тревожно на сердце?

Тогда она во всем согласилась с Церром, да и сейчас согласна. Но доводы ли разума убедили ее, не жалость ли к старику, потерявшему дочь? Милый угловатый Церр! Он представлялся ей ежом, существом совершенно беззащитным, если бы не колючки. Разве еж виноват, что колется? И разве иглы нужны ему для нападения, не для защиты? В сущности, Церр — безобиднейший человек, робкий и застенчивый. Лишь обстоятельства заставляли его ошестиниваться время от времени. Сначала он и Норе показался излишне колючим, но потом, когда она подружилась с Анитой, когда они вчетвером гуляли по вечерам, жарили грибные шашлыки на костре, катались на яхте, играли в теннис, словом, чуть ли не каждый свободный час проводили вместе, — она поняла Церра и полюбила его как отца. Жизнь его не задалась — он до преклонных лет был одинок, любил только свою науку, своих рыбок. А потом нагрянула поздняя любовь, поздняя и несчастливая, от которой, похоже, даже приятных воспоминаний не осталось, только

дочь, Анита. В ней сосредоточилась вся его жизнь, все, что мы называем личным. И вдруг — ничего. Пустота. Вакуум. Крах.

Но самое странное, самое непонятное в том, что Анита, дочь Церра, воспитанная им и без памяти его любившая, во всем была похожа на Руно. Она тоже не признавала жизни без риска. И откуда взялась в ней эта отжившая черта? Ведь за ней стояло будущее. «А вдруг это и есть черта человека будущего, а мы с Церром ошиблись? Или... или она была немножко влюблена в Руно и потому старалась во всем ему подражать? Да нет, непохоже, это было у нее свое, внутреннее, глубинное. Неужели же Церр заблуждался?..»

Нора еще раз окинула взглядом водохранилище, не увидела на нем никаких льдин, не увидела обуглившейся рыбы на прибрежной отмели — и устало провела рукой по лицу. Хватит! С прошлым покончено. Пора возвращаться в настоящее. И, если возможно, подумать о завтрашнем дне.

«Прощай, тайга! Прощай, Лена!»

Одним махом преодолела она гостиничную лестницу, пальцы решительно отстукали по клавишам под экраном видео. Дверь номера была закрыта, но ей показалось, будто в ванной чуть слышно жужжит бритва. Руно все еще незримо присутствовал в ее жизни. Больше того, он не отлучался ни на минуту, выдавая себя то жужжанием бритвы, то насвистыванием за стеной, то вздохом в пустом соседнем кресле.

Экран вспыхнул — сейчас на нем появится Жюль, близкий, заботливый, необходимый, и она скажет ему все, что давно уже пора сказать. Она скажет: «Дорогой мой Жюль Иванович, я вам так и не ответила вчера. Я отвечу сегодня...»

Но в тот самый момент, когда Жюль должен был появиться на экране, она инстинктивно, испуганно нажала клавишу отказа от разговора.

— Нет, не сейчас! — прошептала Нора. — Не сейчас, после. Еще успеется.

За спиной послышался облегченный вздох. А может, ветер шевельнул занавеску.

Нора быстро набрала другой номер — на экране возник сын, Игорешка. Волосы на макушке вихром, глаза круглые, шальные — не остыл еще от каких-то своих интересных дел. Был он в этот момент мучительно, укоряюще похож на отца. На Руно.

— Мапочка! Ты приехала! — выдохнул Игорешка — и безотчетно подался вперед, к ней.

9

Другоевич погасил скорость и медленно описал эллипс вокруг бакена. Серый неприветливый мяч как ни в чем не бывало проворачивался вокруг своей оси, и казалось, нет ему никакого дела до подошедшего изуродованного судна.

Бентхауз, Церр и даже Мелин приникли к иллюминаторам. Молча следил за ними воспаленными лихорадочными глазами Ларри Ларк — был он очень слаб, стонал, впадал в беспамятство, но, когда приходил в себя, только взгляд выдавал его муки. Похоже, он превзошел все пределы человеческого терпения — изнуряющая тряска доконала бы любого на его месте.

— Удивительное невезение, — забыв о своей обычной невозмутимости, растерянно произнес Другоевич. — По золотому правилу: пришла беда — отворяй ворота. Как же мы теперь координироваться будем?

— Но встретить-то он нас должен, — не то спросил, не то заверил Бентхауз. — Он же знает время, разве не так?

— Так, так, — вздохнул Другоевич и по возможности спокойно в третий раз повторил то, о чем уже говорил

дважды: — Он проинформирован о времени нашего при-
бытия, о всех наших неполадках, о состоянии капитана
и об уровне радиации в двигательной камере. Не знает
он только двух вещей: что с нами делать, это он мне
сам вчера сказал, и что у нас отказало радио.

— Надо же, чтоб оно отказало в самый такой мо-
мент, — пробормотал Бентхауз. — Как по заказу.

— Это антенна, точно, антенна, — заявил Мелин. —
Когда корпус перекосило, ее вполне могло срезать. Дер-
жалась на волоске. А чем иначе объяснить, что все в по-
рядке, а приема нет? Если бы не заклиненный люк, я
бы в момент...

— Антенна, не антенна, какая разница? Теперь по-
сыплются несчастья одно за другим, — трагическим по-
лушепотом предрек Церр. — Может, антенна в порядке,
да он не желает с вами разговаривать?

— Вы никогда не занимались дрессировкой змей? —
слабым голосом спросил вдруг Ларри Ларк.

— Нет, я занимался рыборазведением. А что? —
насторожился Церр.

Ларри закрыл глаза.

— Странно, очень странно. Я все думаю: где вы на-
учились так похоже шипеть?

Длинную неловкую паузу прервал Мелин:

— Похоже на что?

— Похоже на змею.

Другоевич нервно встал:

— Что он примет нас на бакен, я не сомневаюсь.
А уж все остальное... Сами понимаете, задали мы ему за-
дачку.

Час прошел в молчании.

— Ничего? — спросил наконец Мелин.

Бентхауз только плечом повел. Теперь он один оста-
вался у иллюминатора, Церр вообще ничем не интере-
совался или делал вид, что не интересуется. Еще через
час Другоевич предложил перекусить. Аппетита ни у ко-

го не было, кусок не лез в горло. И все-таки каждый через силу заставил себя проглотить котлету.

Вдруг что-то скрежетнуло о борт. «Толчинского» слегка качнуло. Все бросились к иллюминаторам, но в них ничего не было видно. Другоевич переключил на экран салона наружную камеру. Возле изуродованного двигателя плавала... лодка. Маленькая ремонтная лодка бакена.

Ларри Ларк даже не шевельнулся. Тонкие губы Другоевича дрогнули в улыбке.

— Вот так штука! — воскликнул Мелин. — Что бы это значило?

— Очень просто, осматривает повреждение.

— Но почему не в скафандре? Почему в лодке?

Другоевич не ответил. Ответил за него Церр:

— Боится радиации. Ему же сообщили уровень...

— Нет, что-то не то. Наружная радиация ничтожна, а в лодке все равно не сунешься в камеру.

— Значит, он формально осмотрит нас и объявит, что сделать ничего нельзя.

— Нерационально! — возразил Мелин. — Зачем усложнять себе такую простую задачу? Формально он мог осмотреть нас и в скафандре.

За спиной пассажиров Ларри Ларк, кивнув на Мелина, выразительно переглянулся с Другоевичем. Другоевич опустил глаза.

Снова лодка шоркнула о корму.

— Сколько лет было вашей дочери, Церр, когда она... когда это случилось? — ни с того ни с сего спросил Мелин.

— Восемнадцать. А что?

— Восемнадцать. Значит, сейчас было бы двадцать три. Как и мне.

Томительно текли минуты. Казалось, паузы в разговоре еще больше растягивают время. Наконец, подал голос Бентхауз:

— Скажите откровенно, Другоевич...

— Возвращается! — перебил его Мелин. — Смотрите, он возвращается на бакен!

— Этого следовало ожидать, — прокомментировал Церр, спрятав глаза под колючками бровей.

Действительно, лодка на экране стала уменьшаться, уменьшаться, приблизилась к шару бакена и нырнула в его нижний люк. Другоевич опустил голову.

— Скажите откровенно, — продолжил Бентхауз, но теперь в его голосе угадывалась растерянность. — Вы все еще верите в этого человека?

— Я надеюсь, он добросовестно выполнит свой долг, как любой служащий Космофлота, — сдержанно ответил Другоевич.

— А не кажется ли вам, что выполнить долг в чрезвычайных обстоятельствах, скажем, в наших обстоятельствах, — нечто иное, чем просто выполнить обязанности, предусмотренные служебной инструкцией?

— Браво, Бент! — прохрипел Ларри Ларк.

Другоевич усмехнулся:

— Да, кажется.

— И вы все еще надеетесь?

— Да, друзья мои, да.

— Вы неисправимый оптимист.

— Таким уж уродился.

— Я тоже родился оптимистом. И оптимистом надеюсь помереть. Но после того, что рассказал коллега Церр... и судя по поведению этого типчика...

— В сомнениях Бентхауза есть резон, — поддержал его Мелин. — И самое страшное, что этот Руно Гай будет прав, что бы он ни сделал. Даже если ничего не сделает. Он может спрятаться за инструкциями, как за метеорозащитным полем. Видать, в космическом праве дока. А у нас положение самое дурацкое — никому ничего не докажешь.

Ларри Ларк попробовал приподнять голову. Его ор-

линый нос, обтянутый пожелтевшей кожей, еще больше заострился.

— Все мы неизбежно ставим себя на его место. Не так ли, Мелин?

— Совершенно верно, капитан.

— А ведь тебе уже двадцать три года.

— Ну и что?..

— Ей было восемнадцать, когда она бросилась в реку... спасти рыб.

— При чем тут возраст! — покраснел Мелин.

— Я был о тебе лучшего мнения. Надеялся, ты сможешь работать на Космофлоте.

— Я и так буду работать на Космофлоте!

— Очень сожалею, Мелин. Это исключено.

— Ларри, вам нельзя волноваться, — напомнил Другоевич. — Мы-то с вами знаем, что все будет в порядке, так зачем...

— А затем, что, будь я на месте бакенщика, я бы зубами отгрыз этот задравшийся двигатель. Он же на одной шкурке висит. На одной обшивке...

— Хорош инструмент — зубами! — не сдержался обиженный Мелин, хотя все они договорились между собой не задевать больного капитана. — Так и зубы ломать недолго.

— Зубы надо еще иметь! — фыркнул Бентхауз.

Кровь отлила от лица Ларри Ларка — оно стало белее бумаги. Все ждали — сейчас он взорвется. Но Ларри сказал совсем тихо:

— В одном ты прав, Бент: в чрезвычайных обстоятельствах можно выполнить долг только чрезвычайными средствами. Они не записаны в инструкциях. Они записаны в сердце. А у кого не записаны, тому нечего делать в Космофлоте... — Лоб Ларри Ларка покрылся бисеринками пота. Прежде чем потерять сознание, он проскрипел сквозь стиснутые зубы: — Чрезвычайными средствами... например, зубами... Мелин...

Он знал, что времени остается в обрез. Значит, пробил час подведения итогов. На всякий случай следует быть готовым к худшему. Много раз вплотную подступал Руно Гай к этой черте, к последней черте, за которой нет ничего, и каждый раз подводил итоги. Это стало уже почти привычкой. Правда, получалось у него не совсем то, что принято называть подведением итогов, — что ж, всяк поступает по-своему.

В такой момент жизнь кажется особенно прекрасной. Как дорог стал ему и опостылевший бакен, и пол, еще недавно уходивший из-под ног, и даже этот ненавистный, осточертевший, трижды проклятый «Золотой петушок»!

За окном на черном бархате вечной ночи яростно сияла звездная карта. Зыбким, кисейным выглядел на ее фоне голубоватый полумесяц Сатурна в ореоле призрачных колец. Даже солнце катилось среди звезд блеклым оранжевым мячиком. И лишь «Золотой петушок» соперничал со звездами, а порою и затмевал их. Он выныривал из созвездия Стрельца безобидным яичным желтком, набухал, разрастался на глазах, клубился роем назойливой разноцветной мошкары — и вдруг обрушивался на бакен проливным кровавым дождем, на несколько дней смывая с горизонта и Солнце, и Сатурн, и даже звезды. Тогда стрелки приборов испуганно вздрагивали, дальняя связь прерывалась, а защитное поле работало на полную мощность, забивая все отсеки напряженным шмелиным гудением. «Петушок» уносился прочь, но долго еще парили вокруг оброненные им радужные перья, переливались, вспыхивали, причудливо изгибались, сворачивались спиралью — и не таяли до тех пор, пока не появится в созвездии Стрельца новый безобидный желток.

Вот и сейчас кружили в черноте ночи слинявшие, пожухлые обрывки перьев, а меж ними медленно плыл

четкий, будто нарисованный, силуэт «Профессора Толчинского», оставляя за собой голубой шлейф плазмы.

Судно превратилось в комету...

Вернувшись в институт после очередного учебного рейса, уже хлебнув космоса и чувствуя себя причастным к нему, Руно Гай, гордый и неприступный, как все стажеры, столкнулся в толпе студентов... с кометой. Огненно-золотистый хвост ее волос коснулся лица Руно — и затерялся в дали институтских коридоров. И все. На этом Руно Гай как самостоятельное небесное тело прекратил свое существование. Он попал в сферу притяжения кометы, навеки стал ее спутником. А она даже ни разу не взглянула на него, хотя великолепная форма стажера Космофлота всегда и неизменно очаровывала первокурсниц.

Ее звали Нора. Она была космогеологиня. Она была комета. Она была солнце. Она была все. А он был для нее ничто.

И он ушел в свой космос, окунулся в него с головой, он упивался схваткой с космосом, объятиями с космосом, пьянел от азарта, от радости покорения пространства, от постоянного общения с неизвестным. И когда друзья спрашивали его: «Какого дьявола ты не вылазишь из корабля?», он отшучивался: «Гоняюсь за кометой, братцы. Хочу схватить ее за хвост».

Через четыре года, уже достаточно известный, он снова забрел в институт, чтобы подыскать себе штурмана среди выпускников. Он сидел в парке, в тени акаций, а на соседней скамье за кустами группа молодежи вела горячий и шумный спор. Речь зашла об идеалах, были названы имена Циолковского, Курчатова, Джордано Бруно. И вдруг девичий голос, звучащий туго натянутой струной, произнес:

— А мой идеал человека — Руно Гай!

Он вскочил — и тут же опустился на скамью: это была она, его комета! Точеный профиль, влажные серые

глаза, и в каждом движении, в каждом жесте — порыв, устремление, вихрь. Он хотел спрятаться, но было поздно — его обнаружили, узнали, затащили в компанию.

— А ваш идеал? — спросили его.

— Первый космонавт, — ответил Руно.

— Почему? Потому что он был первый?

— Нет. Потому что он был легок на подъем. Потому что тяжесть славы не смогла удержать его на Земле.

Когда они остались вдвоем, он спросил:

— Нора, почему вы назвали Руно Гая?

Кажется, в этот день она впервые никуда не спешила, никуда не стремилась. Потупившись, она чертила носком туфельки узор на песке.

— Завтра вы улетите в свой космос, и мы никогда больше не встретимся. Правда ведь? Так почему бы вам не выслушать еще одно признание? — Нора лукаво стрельнула в него глазами. — Я вас полюбила с первой встречи, с первого взгляда. И ни на шаг не отставала все эти тысяча пятьсот дней. Я знаю о вас все...

— Откуда?!

— Из газет, кино, видео...

— Но ведь в жизни я совсем не такой...

— Конечно. Лучше! — торопливо воскликнула Нора.

— А вы уверены, что знаете про меня все?

— Уверена. Голову даю на отсечение.

— Вместе с хвостом?

— Разумеется. Вам нравятся мои волосы?

— Ах, Нора, Нора, ничего-то вы не знаете! Ровным счетом ничего. Вы даже не знаете, что я потерпел сокрушительную аварию...

— Аварию?! — ее глаза округлились.

— Да, столкнувшись с кометой.

— С кометой? Когда?!

— Примерно тысячу пятьсот дней назад. В этом самом здании.

До сих пор Нора держалась молодцом, бравировала

и пробовала кокетничать, хотя голос порою срывался. Теперь она сломилась и прошептала едва слышно:

— Вы... влюбились?

— Да. Но она меня не замечала. У нее были длинные золотисто-рыжие волосы, и она ускользала от меня, как комета. Ее звали...

— Глупая девчоночья гордость!

Нора отвернулась почти сердито. На песок падали слезы, и она с женской непосредственностью вытерла глаза хвостом кометы.

— Глупая мальчишечья робость, — признался Руно. И добавил, словно продолжая недавний разговор: — А мой идеал женщины — Нора Гай.

— Нора... Гай?

Через неделю они улетели на Марс, в свадебное путешествие.

В лайнере он сидел вместе со всеми в пассажирском салоне, и тем не менее привычный зуд единоборства с пространством снова охватил его. Когда в иллюминаторе возникло лохматое космическое Солнце, Нора, впервые увидевшая его, широко распахнула сияющие, праздничные, полные языческого преклонения глаза:

— Смотри, Солнце!

Он усмехнулся ее наивности:

— Подумаешь, Солнце! Обычная звезда.

Ее глаза погасли.

Конечно же, он никогда не думал так о Солнце. Он умел ценить красоту, которую космос щедро демонстрирует всем бороздящим его пределы. И уж подавно сумел бы оценить восторг молодой жены перед вечным светиллом, если бы не эта внезапная вспышка неодолимого космического зуда.

Не тогда ли начал он терять Нору?

Он уже избрал свой жребий и не хотел, не считал нужным порывать с космосом. А космос пожирал все силы, все время без остатка, и Руно снова и снова терял

Нору, рискуя вовсе потерять ее. Он мечтал о спутнице жизни — и сам постепенно становился ее спутником. Нет, она не хотела этого, у нее и мысли не было навеки привязать Руно к себе, — но она не хотела терять и себя, свою независимость. Одержимость Руно космосом пугала ее. Она была мягка, и нежна, и податлива, но это был характер! Сколько лет прошло, сколько усилий пропало даром, прежде чем Руно понял: она не изменится. Не потому что не хочет — не может. По ее любимому выражению, не будь она тогда Нора Гай. Пришлось подавить зов космоса, искать себе применение на Земле. Да и специалисты-психологи настоятельно рекомендовали время от времени менять работу и образ жизни. И Руно уже почти добился оптимального варианта. Годы, проведенные в Якутии, стали их семейным раем. Нора была счастлива. И Руно был счастлив, если бы только по ночам не хватало за душу неведомое...

А потом этот случай с Анитой — и все пошло прахом. Нора так и не простила ему... чего? Черствости? Безрассудства? Ошибки? Минутной вспышки прежнего азарта? Риска, которому он подверг и ее, ее счастье? И ведь она еще не знала всего, наверняка не знала, что девочка была влюблена в Руно. Впрочем, Норе и не следовало знать об этих девочках, которым он всегда говорил одно и то же: «У вас еще все впереди, милая, вы еще найдете свою судьбу. А я свою уже нашел».

Примерно так же ответил он и Аните на ее отчаянно-смелый вопрос.

— Счастливая Нора! — позавидовала тогда Анита.

А через полгода ее не стало. И Руно потерял Нору. И Нора отвергла свое семейное счастье.

С тех пор... да, именно с тех пор он снова подружился с риском. Но это не был уже прежний бескорыстный порыв — он пытался заново найти, обрести себя в этих головокружительных трюках. Полет на мешках со взрывчаткой... Бездонные Пещеры в Море Ясности... Клопочу-

щий ствол Жерла... И все больше терял себя, себя прежнего. Словно мир для него держался на одной Норе. Потом, чтобы отрезать пути к этой уже никчемной «легкости на подъем», он пошел на бакен — и бакен начал уходить у него из-под ног. Вот что значит потерять точку опоры.

С тех пор минуло пять лет. Пять лет без Норы. Значит ли это, что все потеряно? Нет! Он снова завоеует ее. Как завоевал тогда, сам того не ведая. Он еще поймает свое упорхнувшее счастье!

За окном медленно проплыл «Толчинский», оставляя голубоватый след на черном. Возможно, этот след и есть последняя черта. Что ж, он подойдет вплотную к последней своей черте и, если надо, переступит ее. Но знали бы они там, на борту, как не хочется ему расставаться даже с «Золотым петушком», не говоря уже о Норе...

11

За этот год Игорешка не только вытянулся, но и повзрослел. На чистый детский лоб легла печать озабоченности и раздумий, сосредоточенно, требовательно взирали на мир честные мальчишечьи глаза. Сердце Норы дрогнуло: уж не из-за нас ли переживает?

Он встретил ее вполне по-деловому:

— Мамочка, в нашем распоряжении четыре часа — целая вечность. Сначала мы погуляем по парку, и я расскажу о своей жизни здесь, потом, за коктейлем, ты расскажешь о себе, а вечером, если не возражаешь, я сыграю для тебя.

Она прижала к груди его вихрастую голову.

За коктейлем, помешивая соломинкой мороженое, он спросил, в упор глядя на нее горячими глазами Руно:

— Что с отцом?

— Все по-прежнему, мой мальчик. Пока его не отпускает космос.

Игорешка мучительно покраснел.

— Мапочка, ты забываешь — мне уже двенадцать. Я хотел выяснить... узнать... какие у вас планы... на дальнейшее... — И вдруг выпалил главное, наболевшее: — Ты больше не любишь его?

Да, Игорю Гаю двенадцать лет. И тут не отделаешься ни к чему не обязывающими словами. Не покривишь душой. Но и правду не скажешь. Хотя, наверное, он имеет право знать всю правду. Да только... выдержит ли его лобик такой груз?

— В жизни все сложнее, чем ты думаешь, сынок. Я по-прежнему люблю его. Но...

А в самом деле, что «но»? Разве это мыслимое сочетание: «люблю — но»? Почему какое-то «но» может помешать любви? И в чем оно, в конце концов, состоит? Попробуй-ка объяснить это ребенку. Или хотя бы себе — под его честным взглядом.

...Когда-то, давным-давно, они немножко повздорили, но уже через пять минут Руно обнял ее:

— Золотая ты моя! С тобой не соскучишься!

Помнится, она обиделась тогда на эти слова. А ведь была в них своя правда. Она ссорилась с Руно, терзалась, осуждала, плакала, сердилась, теряла его и вновь обретала, но соскучиться с ним было невозможно. Ни в печали, ни в радости.

С того самого дня, когда он признался там, в институтском парке, что тоже любил ее все эти четыре года... когда она поверила в свое невероятное, немыслимое, прямо-таки сказочное счастье... когда Руно на глазах ошарашенных студентов на руках унес ее из института — невесомую, потерявшую голову от восторга... с того самого дня жизнь ее была праздником. Это и понятно, если два человека созданы друг для друга. Конечно, были трещинки, были раздоры, на то она и жизнь.

Он ревновал ее к земле, она его — к небу. Он не мог жить без космоса, она — без него. Ради нее он оторвал от себя космос, а вместе с космосом и частицу души — и она бросила научную работу, вспорхнула и полетела за ним в Якутию. Да, разное бывало. Разное, из чего и состоит счастье. Но жизнь ее с Руно всегда оставалась прямой. Без него все запуталось.

Защита диссертации, не доставившая радости, оказалась только средством — не целью. Чего-то ждет Жюль, которого она, сама того не желая, обнадеедила. Где-то носится со своей непримиримостью Церр — и всюду ссылается на нее, как на высшего судью в деле Руно. А главное — она запуталась в себе.

Начать с того, что человек, виновный в смерти другого человека, недостоин любви. Да так ли это? Да и виновен ли? Суд сказал: невиновен. Почему же она вправе иметь особое мнение?

Церр говорит: цель общества — благополучие.

Руно говорит: расцвет личности.

Но ведь и Жюль, которому она еще вчера готова была сказать «да», — тоже за расцвет личности. И если Руно все-таки в чем-то сдерживал себя, то Жюль — пример полной, стопроцентной реализации всех заложенных в человеке возможностей. И Жюль рисковал, еще как... правда, только собою, не другими. Но если бы у него была жена, получилось бы, что и другими тоже. Так в чем же разница? Почему Жюль стал в ее глазах чуть ли не эталоном, а Руно?.. Нет! Она ничего не скажет Жюлю. Он любит ее преданно и безответно, он всем хорош, не хватает в его характере лишь одного — «перца», как говорили в старину. С ним соскучишься. А женщина ищет в любви страстей. Тихой гавани, но и страстей одновременно, такое уж она нелогичное существо, женщина. Да и того проще: она не любит Жюля. И едва ли полюбит. Кто выдержит сравнение с Руно?

Как они жили в Якутии! Какой полной, яркой, праздничной жизнью! Ради недели такой жизни она и сейчас не моргнувши готова отдать все пять лет последующего прозябания. Но в этом благоденствии уже созревала драма: Церр, Анита, рыбки, яхты, шашлыки — и Руно с его космическим размахом.

Да, она не может забыть этот маленький красный гроб, эти черные головни на песке. Но при чем тут она? И почему, если даже Руно виноват... если на минуту допустить, что он виноват... почему расплачиваться своим счастьем должна она?..

Мороженое давно растаяло. Игорешка смотрел на нее во все глаза и ждал. Да Нора и сама ждала от себя какого-то решения. Какого?

Последнее время она стала пугающе рационалистична. Рассуждает, анализирует, взвешивает. Это к добру не приведет. Она была счастлива только тогда, когда слушалась сердца. Если бы там, в аллее, та юная Нора принялась рассуждать, позволительно ли девушке первой признаться в любви почти незнакомому человеку, что осталось бы ей в жизни? А она ляпнула: «Я вас полюбила с первого взгляда». «Вот так, дорогая моя Нора. Сердце не ошибается. Не потому ли машины, неизмеримо более сложные, чем мозг, никак не могут угнаться за человеком в решении задач со многими неизвестными? И не потому ли так тревожно на сердце?

Потеряв друг друга, мы оба потерялись. И ради чего? Ради чего жертвовать лучшим, что подарила нам жизнь, — любовью? Ради идеалов? А если Церр не прав? Если идеалы ошибочны? Да и что такое идеалы? Слова... Звуки...

Разве это объяснишь мальчишке?»

— Да, я люблю его, Игорешка. Люблю... но... не так все просто. И давай договоримся вернуться к этому разговору через полгода. Хорошо?

— Хорошо, мамочка. Я только хочу, чтобы ты знала:

я тоже люблю отца. А ты можешь дать мне одно обещание?

— Смотри какое, — улыбнулась Нора.

— Дождаться, пока папа вернется с бакена. И все решить вместе. Мне кажется, когда он будет рядом, ты решишь... правильнее.

«Да он и впрямь совсем взрослый!» — ужаснулась Нора, приглаживая его вихры.

— Я сыграю тебе два кусочка из моего фортепьянного концерта. Только не суди слишком строго — я сам чувствую пробелы. Вот слушай.

Он поднял крышку рояля. Нора закрыла глаза.

С первых же тактов музыка взбудоражила ее азартом, жаждой дерзания, порывом в неизвестное. Маленький гордый человек рвется ввысь, плечами раздвигает глубины мироздания, проникает в иные миры и, пораженный, останавливается на пороге новых далей, неприступных далей. Они манят, зазывают, но человеку известно, какова назначена цена...

И вот он стоит перед дилеммой: остаться жить или исполнить долг ценою жизни. Там, позади, — свет, радость, счастье, пышные облака, шум сосен над головой и любимая, раскинув руки бегущая навстречу. А впереди мрак, небытие — и лишь исполненный долг. Что такое долг? Слово... Звук...

Ей представился черный беспросветный овал неба, радужные полосы вокруг — и яркая голубая черта, отделяющая жизнь от смерти. Человека — от бездны...

Крышка рояля захлопнулась.

12

Время, отведенное на подготовку, истекло. Кажется, он предусмотрел все.

Руно Гай глянул на часы: три четырнадцать по московскому.

Если удастся задуманное, через сорок пять минут он пожмет руку Ларри Ларка, «неистового Ларри», которого никогда не видел, хотя и преклонялся перед ним всю жизнь. А если не удастся, что ж... это никому не принесет вреда. Ровно в четыре включится радио, вызовет Другоевича и объяснит ситуацию. В четыре ноль пять вторая ремонтная лодка, заранее запрограммированная, откроет снаружи заклинившийся люк и перевезет пленников «Профессора Толчинского» на бакен. В четыре двадцать они уже прочтут его записку: что и как делать им на бакене в ожидании спасательного судна.

Если же замысел удастся осуществить, но сам он пострадает, тогда... тогда они обойдутся и без него, и без лодки, и без бакена. В этом случае лодка не откроет люк, чтобы они, чего доброго, не вздумали оказывать ему помощь или хоронить останки, и Другоевичу, хочешь не хочешь, придется взять курс на сближение со спасателем. «Толчинский» разовьет приличную скорость и выиграет почти двое суток — для больного время весьма существенное, если учитывать, что каждый толчок отдается мучительной болью.

А других вариантов быть не может.

Единственное, в чем он виноват перед Другоевичем, — маленькая комедия с радио. Вероятно, они грешат на антенну; это стало ужесвоего рода традицией — валить все на антенну. Зато руки развязаны. А иначе ему пришлось бы долго и нудно объясняться с Другоевичем, и все равно Другоевич не дал бы согласия. Да и кто согласится на такое? Однако Руно Гай надеялся, что Другоевич в конце концов простит ему это отступление от норм джентльменства, особенно если вспомнит, что в подобных ситуациях Церр тоже имеет право голоса, — не вступать же им в переговоры с Церром! А возможно, и Церр простит, когда поймет, какое он принял решение. Что же касается Ларри Ларка, то в нем Руно был

уверен с самого начала. Более того, сильно подозревал, что «неистовый Ларри» наперед знает каждый его шаг. Если только пришел в себя...

Итак, три сорок пять. Пора.

Лодка мягко вынырнула из люка, описала длинную петлю и на пределе скорости устремилась к судну. Теперь все решают секунды. Эх, если бы судно... не брыкалось! Но если бы оно не брыкалось, тебе не пришлось бы принимать экстренных мер, друг мой Руно. Но в том-то и беда, что оно вращается, взбрыкивает, заваливается на бок и тем самым в тысячу раз усложняет твою задачу. И уж тут никакой компьютер не поможет — только твоя воля, твоя интуиция, твоя натренированность, точность глаза, твердость рук...

Судно приближалось стремительно и неотвратно. Казалось, не он несется к нему, а «Толчинский» всей своей громадой падает на лодку. Руно знал: подобные иллюзии не редкость в космосе, — и все же это впечатляло.

Очень важно, чтобы все получилось. Он обязан любой ценой спасти Ларри Ларка. А кроме того, там Церр, и надо доказать ему, что люди не такие, какими он их считает. Впрочем, дело даже не в Церре. В конечном счете Церр — уже вчерашний день, прошлое человечества, и, как представителя прошлого, его можно понять и простить. Ведь он любил Аниту. И с нею потерял все. Но там еще стажер, мальчишка, впервые выпорхнувший в космос. Птенцу будет полезно узнать, что такое космическая этика. Да и нельзя допустить, чтобы птенец разуберился в человеке. Не в нем именно — в человеке вообще. Каждый из нас в силах чуточку приблизить будущее, стало быть, обязан приблизить.

Ну что ж, рискнем. Раз... два...

Три! Руно Гай резко принял штурвал на себя. Едва не коснувшись брюхом обшивки судна в месте повреж-

дения, лодка взмыла вверх и прошла в полуметре над «Толчинским».

— Неплохо для первой примерки, — сказал себе Руно, пытаясь сдуть щекочущую струйку пота. — А теперь — к черту Церра, к черту стажера, к черту меня самого! Теперь я имею право думать о Норе. Только о Норе...

Но у него уже почти не оставалось времени думать о Норе. Описав петлю, лодка снова устремилась к судну.

«Так вот, Нора, — думал он азартно, весело и легко, как в лучшие свои годы, — вот что хочу я сказать тебе на прощанье, золотая моя, а ты поразмышляй на досуге. Все идет к тому, что рано или поздно люди станут практически бессмертны. Мы уже сейчас живем вдвое-втрое дольше, чем двести лет назад. И все, что мы делаем, мы делаем для человека, для его блага, для его счастья, для расцвета его талантов и способностей. Но поверь мне, Нора, поверь, голубка: как бы ни любили мы жизнь, мы никогда, слышишь, никогда не будем бегать от смерти и прятаться от нее. Пусть она от нас убегает. Как в той старинной песне: «смелого пуля боится, смелого штык не берет».

Раз...

И тут он вспомнил, что такое штык. Это острый клинок на военном ружье. Еще в двадцатом веке люди кололи друг друга этим штыком. Насмерть. Трудно представить: государства посылали миллионы людей, чтобы они кололи друг друга штыками! Это называлось — война...

Два...

«Но и тогда, Нора, уже тогда штык не брал смело-го. И пуля боялась! И так будет всегда, куда человек останется человеком...»

Три!

Его ослепило, сплющило и, закрутив штопором, отшвырнуло прочь.

— Он сумасшедший! — закричал Мелин. — Он пошел на таран!

Бентхауз сел, спрятав лицо в ладони. Другоевич хрустнул пальцами и отвернулся. Только Церр, казалось, был удовлетворен: разве он не предсказывал?..

— Ха, струсил! — возликовал Мелин. — В последний момент струсил и свернул. Ну и тип! А я-то перед ним преклонялся в детстве! По-моему, коллега Церр прав, лучше нам трогать отсюда, он явно не в своем уме.

— Зубами... — пробормотал Ларри, не открывая глаз. — Он хочет... зубами...

Бентхауз поднес ему воды.

— Выпейте, Ларри. Не пьет. Бредит.

— Я не брежу. Ты понимаешь, Другоевич, что он хочет? Понимаешь?

— Да, капитан. Сейчас он зайдет снова. Я обязан воспрепятствовать этому. Черт с ним, с риском — включая все двигатели. Он же убьет себя!

Ларри помотал головой:

— Поздно.

— Это опасно, капитан? — схватил его за руку Мелин. Ларри Ларк не шевельнулся. — Скажите, Другоевич, это опасно?

— Очень, — усмехнулся бортинженер.

— Он хочет убить нас, да? Это он мстит вам, Церр. Не надо было называть ваше имя. Но, может, еще не поздно... если включить двигатели?

— Не мечитесь, юноша! — почти ласково обратился к нему Церр. — Стоит ли так дрожать за свою жизнь? Это опасно не для нас — для него.

«Толчинского» подбросило, потом послышался скрежет, будто по корпусу провели гигантской пилой.

Когда на экране появилось изображение, на несколь-

ко секунд сбитое ударом, от борта судна плавно отваливался изуродованный, с рваными краями обшивки двигатель. Из срезанной трубы плазмопровода хлестало пламя, но уже не вбок, а почти точно назад. Лодки нигде не было видно.

Они долго не могли прийти в себя. Вдруг Бентхауз испуганно вскрикнул: стена, на которой он сидел как на полу, постепенно снова превращалась в стену.

— Соломоново... решение, — уголком рта улыбнулся Ларри Ларк.

— Вот и все, вот и нет двигателя, — устало проговорил Другоевич. — А реактор гонит в него плазму, как ни в чем не бывало. Что ж, Руно Гай и это предусмотрел: люк остался закрытым, значит, нам остается одно — идти навстречу спасателю.

— А как же... бакенщик? Что с ним?

Церр не дождался ответа. Его тревожный вопрос повисел в воздухе и растаял.

— Включите радио, — хрипло приказал Ларри Ларк.

— Вы забыли, капитан, — повреждена антенна.

— Антенна в порядке. Включите.

— Да его и не выключал никто.

— Тогда плохо.

Голос Бентхауза дрогнул:

— Что вы имеете в виду, Ларри?

— А я категорически протестую! — фальцетом выкрикнул Церр. — И как врач, и как человек! Мы не имеем права уходить, пока не выясним...

— Браво, Церр!

Было похоже, капитан взбодрился. То ли потому, что изматывающие толчки прекратились, то ли так подействовал на него поступок Руно Гая. Зато Бентхауз чувствовал себя прескверно. Он по-прежнему сидел на полу, спрятав лицо в ладони, однако уши его пылали. А Мелин плакал, плакал в открытую, размазывая слезы по лицу.

— Ничего, Мелин, — повернулся к нему Ларри Ларк. — Тебе только двадцать три. Ничего. Урок полезный... и наглядный. И тебе, и нам всем. Может быть, ты еще проникнешься... духом космоса.

— Черт! Вот ч-черт! — раздался в салоне чей-то незнакомый голос. Все оборотились к двери, но там никого не было.

Ларри рванулся, сел и со стоном упал обратно на подушку:

— Ну, что я говорил!

Потом в динамике послышался свист. Задорный, задиристый. На мотив старинной песни «Смелого пуля боится».

— Он жив! — ударил в ладоши Церр.

— Другоевич, Другоевич, я Руно Гай. Вы меня слышите? Я Руно Гай.

Другоевич переключил переговорное на салон.

— Да, я вас слышу. Я Другоевич. Как вы там, Руно?

— В порядке. Почти в порядке. Как вы? Я вас не напугал?

— Было немножко. А вы не того... не ранены?

— Я выбил пару зубов, ребята. Или три, еще не считал. Но дело не в этом. Сейчас я сделаю вам трубку, чтоб не барахла. Пока.

— Руно! Руно! Гай! Что вы делаете?! Там же радиация! Безобразие, он выключился. Черт знает что! Действительно сумасшедший! Мы и с трубкой могли бы...

— Другоевич! Переносной микрофон! Бегом! — глаза Ларри Ларка обрели прежний стальной блеск. — Ни черта он не выключился, все слышит. Руно, это я, Ларри Ларк. Повторяю, говорит Ларри Ларк. Я вам категорически запрещаю приближаться к плазмопроводу. Я вам приказываю! Не послушает же...

Микрофон упал на простыню. Кажется, сил капитана

хватило только на эту тираду — он снова потерял сознание.

— Ничего не слышал, — упавшим голосом подвел итог Другоевич.

На экране было отчетливо видно, как помятая, покоренная лодка подплыла к изрыгающей пламя трубе, медленно, страшно медленно выпустила манипуляторы и, дав полную боковую тягу, закрутила обрубок плазموпровода. Голубой хвост плазмы истончился, померк, наконец, вовсе иссяк. Другоевич ничком упал на диван и затрясся в бессильном рыдании.

Церр всех по очереди обвел виноватыми собачьими глазами — на него никто не смотрел. И сказал, обращаясь в пустоту:

— Я умолчал на суде. Я сам виноват в ее гибели. Полагается держать племенные экземпляры и часть мальков в изолированном бассейне, а я спешил вырастить их к выставке. Я сам виноват. Как только вернемся на Землю, потребую повторного суда и открою всю правду. А еще... попробую повлиять на Нору...

— Поздно! — в лицо ему выпалил Мелин. — Там, по крайней мере, пятикратное...

— Другоевич! — опять появился в динамике веселый голос Руно. — Порядочек, починил вам трубку. Можете запускать, а на ходу займетесь ремонтом. Сейчас я открою люк. У вас не найдется лишней койки?

Другоевич остался лежать лицом вниз. К переговорному подошел Бентхауз.

— Слушайте, Руно! Какого дьявола вы полезли туда, мы бы и так обошлись. Там же пятикратное превы...

— Это не вы, Другоевич? Ну да все равно, сейчас я вас открою. Придется потесниться, братцы. Мне и вправду предстоит профилактика. Даже две. Одна в госпитале, другая на Совете Космофлота. Вот уж будет чистка — с песочком!

Другоевич резко встал. Боль, злость, отчаяние до не-

узнаваемости изменили его обычно невозмутимое лицо.

— И вы еще шутите! Вас бы крапивой выпороть по соответствующему месту! Знаете, что такое крапива?

— Что-то вроде салата?

— Вроде салата! Белый свет не видывал таких... таких...

— Идиотов? — смеясь, подсказал Руно. — Не умеете ругаться, Другоевич. Не такой уж я идиот. К тому же я и жить хочу. У меня еще есть кой-какие шансы в этом мире. Ну и заклинило!

— В вашем распоряжении остались считанные часы...

— Ну, это явное преувеличение. Считанные десятилетия — согласен. Конечно, меня малость облучило, но превышение было вовсе не пятикратное. По моим расчетам — только полуторное.

— Каким образом?!

— Маленькая хитрость. Под стационарный скафандр я надел еще и обычный. Представляете, как все просто? Внимание, открываю!

— Но, Руно! Почему же не сработал ограничитель стационара? Руно! Опять молчит.

Жалобно скрипнула, поддаваясь железным мускулам лодки, дверь наружного люка. Через несколько минут Руно Гай ввалился в шлюз. Когда его освободили от шлема и гермомаски, перед экипажем и пассажирами «Профессора Толчинского» предстала счастливая, расплывшаяся в улыбке физиономия с черным от запекшейся крови подбородком.

— Вы еще не учли радиационную защиту лодки, — сказал, шепелявя, Руно Гай. — А ограничитель... ограничитель сработал. Да только он был бессилен внутри лодки. Не по мне все эти ограничители, а отключать нельзя — вздуют... крапивой. Так что приходится использовать скрытые возможности техники. Дайте мне умыться, Другоевич. Не могу же я в таком виде предстать пред светлые очи неистового Ларри.

Двенадцать дней Нора дежурила у его постели. И двенадцать дней врачи не могли сказать ничего определенного. На тринадцатый Руно пришел в себя.

Это были кошмарные дни. Что пережила, что передумала она, сидя у постели — или у саркофага? — больного, лучше не вспоминать. Ее жаркие волосы, которые так любил Руно, побелели за эти дни. Игорешка, сам измученный и осунувшийся, почти насильно уводил ее из госпиталя отдохнуть хоть пару часов. Но, едва задремав, она вскакивала, ломала руки и снова летела к нему: «Руно мой, Руно, ну как ты? Как?!» Будто за два часа что-то могло измениться. Будто вообще что-то могло измениться от того, что она сидит у постели. Но иначе она не умела.

Только теперь Нора поняла со всей очевидностью, что любит его. Больше того, поняла, как любит. И впервые любовь открылась ей другой своей стороной — не радостью, а тяжестью чувства. Впервые открылось ей, что она теряла вместе с Руно, — теряла по воле судьбы, а ведь готова была отдать добровольно! Но и в эти дни она не позволила себе ни на шаг отступить от своих принципиальных позиций.

Дважды приходил Церр, ворошил прошлое, заступался за Руно, убеждал ее в невиновности Руно, рассказывал ей — ей! — какой Руно замечательный человек. Словно Руно Гай когда-то нуждался в заступниках. Церр говорил страстно, убедительно, подавлял ее аргументами, а она смотрела на него и думала, что он милый старикан и умница, что он, безусловно, прав и делает доброе дело, наставляя ее на путь истинный, — но она не любит Церра, не переносит, не желает видеть. Он был просто неприятен ей, как был неприятен Руно Гаю, и все его аргументы разбивались об эту неприязнь.

Зато она отходила душой у постели Ларри Ларка.

Седой, смуглолицый, продубленный всеми космическими ветрами человек, о котором она прежде и не слыхала, стал ей опорой. Впрочем, привезенный в госпиталь в тяжелом состоянии, а сейчас быстро идущий на поправку, одинокий и замкнутый, он, вероятно, тоже, как и она, находил отраду в неожиданной и поначалу молчаливой дружбе. Этот белоголовый ребенок был ей симпатичен, его доверчивость и непосредственность восхищали, его мальчишеская улыбка и стальной взгляд успокаивали, а кроме того, он был в чем-то неуловимо похож на Руно, — поэтому доводы Ларри Ларка, отнюдь не столь логически безупречные, как у Церра, действовали куда сильнее. Ему даже удалось в чем-то пошатнуть ее убеждения.

В разговорах с ним Норе открылось прежде неведомое: необоримая притягательность космоса, космическая честь, неписанный кодекс этики космонавта — все то, чем жил Руно и о чем она, оказывается, даже не подозревала, хотя они всегда делились друг с другом самым сокровенным. Выходит, для Руно это было очевидным, элементарным.

Когда выяснилось, что Церр много рассказывал о ней на борту «Толчинского» и что Ларри Ларк в курсе событий, — Нора, гордая Нора, никому прежде, кроме мужа, не открывавшая души, вдруг расплакалась у постели старого капитана и попросила его совета.

— Что тут посоветуешь, дочка? — усмехнулся Ларри Ларк. — Ты все знаешь сама. Любишь — возвращайся. А коли не любишь — что ж... Вас ведь ничто не связывает, кроме любви.

Она долго, горячо, путано поверяла ему свои сомнения. Говорила, что все героические сальто Руно только для непосвященного — подвиги, а на самом деле — чистейший эгоизм, что они никому не нужны, что таким образом он лишь пытался бежать от себя после гибели Аниты, что если прежде он был просто смелый человек,

то после случая на речке Муоннях превратился в искателя приключений, чуть ли не авантюриста. Ракета со взрывчаткой, Бездонные Пещеры, вулкан Жерло и еще с десятков подобных случаев — это не подвиги, это озорство, а еще точнее — игра с огнем, щекочущая нервы. Недаром завод, ради которого он едва не поплатился жизнью и погубил Аниту, снесли после той аварии, даже не стали ремонтировать — настолько он устарел, и ракета со взрывчаткой успела бы к сроку без его присутствия на борту, и научные данные, полученные внутри вулкана, мог добыть простой автомат. Нет, увлеченность, одержимость, самопожертвование — отнюдь не положительные качества сами по себе. Важно, для чего совершается поступок, вернее, для кого: для себя или для людей...

Ларри Ларк слушал ее, как взрослый, умудренный опытом человек слушает ребенка.

— Погоди, дочка. Ведь та ракета со взрывчаткой могла и забарахлить, а там люди сидели на пути лавины. Люди! Разве не ему они обязаны спасением?

— Нет. Ракета не забарахлила. Риск оказался напрасным.

— Это случай, дочка. А он не мог положиться на случай, не мог рисковать жизнями людей. Он мог рисковать только собственной жизнью.

— А Жерло?

— Ну, про Жерло я ничего не знаю. Лучше возьмем самый свежий пример, «Профессор Толчинский». Руно Гай отвоевал для меня у смерти всего двое суток. Но врачи говорят — эти двое суток решили все. И вот я перед тобой, живой и почти здоровый. Разве не убедительно, дочка?

Нора молчала. Да, пожалуй, это было убедительно, однако... И она начинала все сначала.

— Ты нелюбишь его? — прямо спросил Ларри.

— Люблю.

— Тогда зачем же убеждаешь себя в обратном?

— Я не убеждаю. Я только ненавижу в нем эту черту — вечно лезть вперед других, спасти кого-то и подставлять свою голову под... под...

Ларри Ларк улыбнулся неотразимой младенческой улыбкой:

— Он родился космонавтом, дочка! Это у него в крови...

Когда Нора возвращалась в гостиницу, Игорешка смотрел на нее требовательно, испытующе. Он все еще ждал ответа на свой вопрос. А она все еще не могла ответить. Нора видела — он осуждает ее, страдает за нее, переживает за отца. Но и это не заставило ее отступить от своего.

На тринадцатый день к Руно вернулось сознание. Главный врач сказал: вне опасности. И Нора решила исчезнуть, чтобы избежать объяснений с больным... с выздоравливающим Руно. Ларри Ларк одобрил это решение.

— Так и быть, я не скажу ему, что ты была здесь. Скажу: каждый день звонила из Жиганска. Но, дочка... прости, что так тебя называю, ты и в самом деле стала мне как дочка... об одном прошу: подумай хорошенько. Не погуби любовь... его и свою. И вот еще что. Он действительно чувствовал себя скверно после гибели Аниты. Это погнуло его, но не сломало. Теперь должен распрямиться. Учти: для него не столь важно, что решит суд, если Церр добьется нового суда. Для него, да и для любого, вышедший суд — суд любимого человека. Твой, Нора, суд. Учтешь?

Она молча кивнула.

15

Он уже достаточно окреп, и врач разрешил ему прогулку. Он сидел в шезлонге под цветущими яблонями в конце госпитальной аллеи, смотрел на бегущие по

небу пышно взбитые облака, слушал гудение пчел над головой и старался ни о чем не думать. И никого не ждать.

Вдруг в дали аллеи показалась фигура женщины. Вся устремленная вперед, раскинув руки как крылья, оставляя позади себя огненный хвост, к нему летела Нора. Единственная в мире комета... Его комета...

Он поднял руки, чтобы поймать ее, — и проснулся. Совсем низко над головой нависла прозрачная крышка. Так Руно впервые пришел в сознание.

Потом, много раз вспоминая это видение, он не уставал удивляться: ведь его доставили в госпиталь без чувств, откуда же он мог знать и это старинное каменное здание, и яблоневую аллею, и даже врача, именно этого врача?! А может, Нора действительно приходила? Может, все это было на самом деле?

Полтора месяца колдовали над ним эскулапы, и почти половину срока он проболтался в невесомости между жизнью и смертью. Только одно ощущение осталось у него от этого времени: он в лодке, и его швыряет и раскручивает, швыряет и раскручивает, и лодка вместе с ним вот уже много часов, много дней, много лет проваливается, проваливается в вечность пространства, и нет этому конца.

Сначала к нему вообще никого не допускали, потом пришел Игорь, а после толпой повалили друзья: космонавты, старые знакомые из института, ребята из Якутии. Руно принимал их с улыбкой, благодарил за цветы, но ему было трудно, неловко с ними. Каждую минуту он думал о Норе, а они мешали ему. Зато его радовали посещения Ларри Ларка. «Неистовый Ларри», аккуратно пристроив костыли, осторожненько опускался в кресло. И потому, что Ларри никогда не видел Нору, Руно мог говорить с ним о Норе. И они говорили о Норе, о жизни, о будущем или просто молчали, без слов хорошо понимая друг друга.

Итак, думал Руно, она не пришла. Даже в те дни, когда он болтался между жизнью и смертью, только звонила из Жиганска. Хорошо, пусть она считает, что между ними все кончено — а вероятно, так оно и есть, — но приехать-то попрощаться с ним она могла! «А зачем? — спрашивал себя Руно. — Она не младенец, понимает: не следует беречь рану, может быть, уже поджившую, тем более, если человек в таком состоянии. Значит, надеяться больше не на что, она не придет никогда. Так нечего и думать о ней. Не думать о ней! Не думать!»

Это решение придало ему силы, он стал тверже, собраннее, злее, глаза приобрели холодный блеск, и лицо заострилось, но дело явно пошло на поправку. Он взял себя в руки — и уже не думал о Норе, совсем не думал о Норе. Только по вечерам, засыпая, позволял себе вспомнить, но не ее, а еще одно видение, мелькнувшее перед ним то ли в лодке, то ли на борту «Толчинского».

Будто бы он очнулся и попросил пить. Кровать под ним продолжала раскручиваться и падать. Вокруг был зеленый свет, один зеленый свет, больше ничего. Из этого зеленого выплыла рука со стаканом, холодное стекло коснулось губ. Он напился — и увидел Нору, ее устремленный вперед профиль на фоне зеленого. Это была странная, непохожая на себя Нора — остриженная, без обычного хвоста волос. Он дотронулся до ее руки — и видение исчезло.

Руно знал, что это сон, бред, чертовщина, что это не Нора — лишь память о Норе, и потому позволял себе вспоминать это нечаянное видение. Но стакан! Губы отчетливо помнили прикосновение холодного стекла! Неужели бред может быть настолько явственным?

А вдруг и тот момент в лодке, когда он увидел Солнце, — тоже бред?..

Его ослепило, сплющило и, закрутив штопором, от-

швырнуло прочь. Первое, что он увидел, когда вернулось сознание, было Солнце.

Солнце, которое он уже не чаял увидеть.

И он завопил на весь космос, себя не чуя от счастья:

— Солнце! Здравствуй, Солнце!

Значит, он жив. Он остался жив. И снова у него есть все: и жизнь, и Солнце, и Земля, и пышные облака, и шум сосен над головой, и белая чайка над волнами, и Нора... Нора — неважно, с ним она или не с ним, важно, что есть!

Как он был не прав, преступно не прав, когда на ее восторженное: «Смотри, Солнце!» — ответил скептически: «Подумаешь, Солнце! Обычная звезда!»

Нет, Руно, не обычная. Счастливая звезда. Если ты живешь под нею. Если под нею живет Нора. Это твоя счастливая звезда!

Глазам его стало жарко. Он взял управление на себя и вывел лодку из падения в пространство. А падал он долго — ни бакена, ни «Толчинского» уже не было в поле зрения...

И теперь, с разрешения врача выйдя впервые в госпитальный сад, он прежде всего посмотрел на небо и прошептал:

— Здравствуй, Солнце!

* * *

Через полгода, проведенные в санатории на Адриатике, в якутской тайге, в театрах Москвы и Парижа, в прогулках с сыном и встречах с друзьями, он отправился в Первую Комплексную экспедицию на Плутон.

На прощание Игорь сказал:

— Мама с тобой так и не поговорила. Она очень переживала, когда ты болел. Но, по-моему, между вами все кончено.

Игоря давно терзал предстоящий разговор, и все-таки он решился. Молодец! По-мальчишечьи жестоко, зато по-мужски прямо. И честно. Таким он и хотел видеть сына.

— Да, я это понял. Что ж, сынок... Пусть будет. как ей лучше. Я не осуждаю маму. Она свободный человек. И она... редкий человек. Береги ее.

Когда он шел по космодрому к лайнеру «Земля — Марс», из толпы провожающих долго еще махал ему вслед вытянувшийся, ростом почти догнавший отца и как две капли воды похожий на него Игорь, а рядом стоял седой, смуглолицый, смахивающий на старого нахлившего орла капитан в отставке Ларри Ларк. В последнее время они стали большими друзьями.

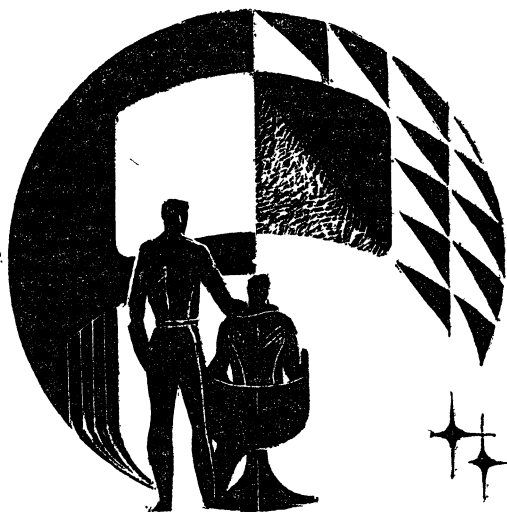
Руно Гай скупно улыбнулся.

Впереди его ждал Плутон, полный загадок, опасности, риска. Он опять будет жить насыщенной, счастливой жизнью. И не беда, что он, если уж совсем честно, просто бежал на Плутон — ему было все равно, бакен, Нептун, Плутон, только бы подальше от Норы. Хоть на край света! На край света, который с каждым годом отодвигался все дальше. Который ты сам, друг мой Руно, отодвигаешь все дальше и дальше. Но жизнь продолжается. И продолжается она под счастливой звездой,



первый шаг

ПОВЕСТЬ





Per aspera ad astra.
Сенеса

Чрез тернии — к звездам.
Сенекка

СТРАШНЫЙ СОН

Всю ночь ее преследовали кошмары.

Ей снились сумрачные сырые ущелья, извилистые тропинки в горах, камни, срывающиеся из-под ног в стремнину. Она повисала над пропастью, ухватившись за куст или едва заметный выступ скалы, а потом, так и не выкарабкавшись, снова взбиралась крутой горной тропой, уже в другом месте, и снова камни беззвучно проваливались под ногами.

Ее видения Земли были призрачны и во многом условны, она никогда не ступала по Земле и даже фильма о путешествии в горах не смотрела, так что эти ночные кошмары, думала она, достались в наследство от предков. Ей часто снилась Земля, но это были какие-то ненастоящие сны, смутные и нереальные, как будто видишь во сне, что тебе снится сон. Когда же в ее сновидениях появлялся знакомый мир Корабля, она воспринимала его реальным до мелочей.

Вставая, она решила, что, возможно, разбалансировалась атмосфера, если ей так плохо спалось, но стрелки давления и кислорода стояли на месте, и она успокоилась. Человек на Корабле больше верил показаниям приборов, чем собственным ощущениям.

«Жаль, что на Корабле нет шкалы настроения, — подумалось ей. — Сейчас стрелка указала бы на «весело», и тебе, хочешь не хочешь, пришлось бы развестьсь, Полина».

Но ей уже и без того было весело.

Мурлыча мелодийку, привязавшуюся еще вчера, во

время музыкальных занятий с детьми, она поднялась в рубку. Здесь, под звездами, усеявшими черный свод неба, под звездами, навстречу которым устремился Корабль, начинался каждый ее день. Конечно, она не чувствовала и не могла чувствовать никакого движения; наоборот, казалось, Корабль завис в безбрежной пустоте, завис, замер и затаился; но одна маленькая звездочка, та самая, постепенно приближалась к ним, год от года обрисовываясь ярче, отчетливее. Кораблем управлял запрограммированный на Земле Навигатор, так что экипаж практически не нуждался в звездах — ни для наблюдений, ни для ориентировки. И все же колюче сверкающий холодными искрами купол рубки притягивал взгляды и сердца, напоминая каждому: звезды рядом!

На Корабле не было ни одной лестницы. И хотя только жилые помещения составляли добрых шесть этажей, а сила тяжести приближалась к земной, создатели Корабля обошлись без ступенек. Из рубки вниз, на ферму, и дальше, через складские помещения, вплоть до машинного отделения, вел наклонный винтовой коридор, много раз опоясывающий Корабль по стенке, виток на этаж. Пол коридора был выстлан пластиком, напоминающим мягкую зеленую травку Земли. С пробега по этой «травке» от рубки до фермы и обратно начинался каждый день Полины.

Она почтительно поздоровалась со звездами, поприветствовала Навигатора, коснувшись его ладонью, и пустилась бежать вниз по коридору.

Шесть этажей. Шесть круглых вместительных залов. Такими же они были и вчера, и позавчера, и десять лет назад...

Библиотечный зал еще пуст. Не светятся стереоэкраны, молчат педантичные автоматы — Педагоги, сиротливо насупились детские столы. Только недремлющий Консультант, кладезь знаний и добрейшая душа, слабо

помигивает индикаторами пульта. Она улынулась ему на бегу, как живому существу:

— Привет, старина!

И Консультант ответил немедленно, точно только этого и ждал:

— Доброе утро, Полина!

На спальном этаже тишина. Двенадцать маленьких кают расположились по окружности, для каждого своя каюта. Корабль рассчитан максимум на двенадцать человек. Их сейчас всего семеро. «Интересно, что думает Свен о проблеме народонаселения, — лукаво напомнила она себе. — Кажется, пора бы, Марта уже подросла».

Сад. Три десятка фруктовых деревьев, подстриженные изгороди акаций, буйно разросшаяся трава. Аллеи, посыпанные песком, маленький бассейн, площадки для занятий спортом. Даже птицы, беззаботные певчие птички, совсем как на Земле щебечущие по утрам.

Старшие дети уже встали. Александр орудовал гириями, а хорошенькая пятнадцатилетняя Люсьен мчалась на велосипеде, вовсю нажимая на педали, и с экран летела под колеса земная дорога, проносились по сторонам земные домики, прозрачные березовые рощи. «Неужели, — подумалось Полине, — она все еще живет в мире детских иллюзий: настоящая дорога, настоящий встречный ветер в лицо? Или это уже привычка?»

На кухонном этаже никого не было, но Синтезатор мерно гудел, творя людям пищу, на плите шумел большой чайник, древний символ семейного уюта, — значит, дежурный уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Вот и ферма, нижний пункт ее пробега, здесь можно передохнуть минутку. Увидев хозяйку, обитатели фермы воспоились, пришли в движение. Кролики, отталкивая друг друга, бросились к краю клетки, просительно зашевелили носами. Нетерпеливо закудахтали

куры, застучали в пустую кормушку. Прильнули к стеклу бассейна лупоглазые карпы.

Напевая, Полина потрепала за уши кроликов, щелкнула по носу самого крупного карпа по имени Гаргантюа, прозванного так за прожорливость, отобрала яйца у кур, и все, точно ждали только ее появления, а не корма, сразу успокоились. Сорвала несколько листьев салата, пощипала зеленый лук и укроп. Новая партия редиски, пожалуй, еще не поспела. Корзинку с зеленью поставила у входа — для дежурного.

Опять глупый Гаргантюа уставился через стекло, предлагал поиграть с ним. «Скучают, — подумала Полина. — Тяжко им тут — ни пруда, ни зеленой лужайки, на всю жизнь заперты в четырех стенах. Совсем как мы. Разве что наша клетка чуть просторнее, но тоже никуда из нее не вырвешься. А может, он меня развлекает? Все-то ведь они понимают, только сказать не могут».

Она не умела думать о рыбах, кроликах и курах как о будущей пище — они были для нее скорее товарищами по экспедиции. Именно поэтому заготовками занимались Свен или Александр, она только брала продукты из холодильника, стараясь не вспоминать, как выглядели эти продукты еще вчера. Хорош был бы завтрак, объяви она за столом: «Сегодня жареный Гаргантюа в сметане».

На кухне уже гремел посудой десятилетний Джон — заспанный, вихрастый.

— Как себя чувствуешь, малыш?

— Спасибо, отлично, тетя Полина. А вы?

— Как всегда — о'кэй. Тебе помочь?

— Что вы, я сам! Я решил сделать салат с кальмаром, ничего?

— На твой вкус, Джон!

Она побежала дальше. Но как хотелось ей в этот момент отпустить Джона порезвиться в бассейн, к дру-

гим ребятам, и сделать за него несложную кухонную работу. Однако строгие традиции Корабля не допускали никаких вольностей.

Поднявшись наверх, к звездам, она порядком запыталась, но эта легкая усталость доставила ей удовольствие. Не так уж много удовольствий выпадало им на Корабле, физическая нагрузка — одно из них. Вот почему спортом охотно занимались все. «Почти все», — поправила она себя, вспомнив Свена.

Теперь — десять минут на брусьях вместе с Люсьен.

— Как хорошо у вас получается стойка, тетя Полина!

— Ты научишься делать еще лучше. Тяни носок, девочка, тяни носок. Нам, женщинам, нужна не только сила, но и грация, — она озорно подмигнула, — чтобы нравиться нашим неповоротливым мужчинам. Больше гибкости, девочка!

Десять минут с малышами в бассейне.

— Серж, ты неправильно дышишь. Вспомни, как учил дядя Свен. Марта, доченька, а ты чего стоишь?

— Мама, а почему рыбки тоже умеют плавать?

— Когда они были совсем крошечными, их учили мамы.

— А разве у рыбок есть мамы?

— Конечно, у всего живого есть мамы.

— А у Сержика почему-то нету.

— Плавай, дочка, плавай. У Сержа тоже была мама.

Александр замер на перекладине, залюбовавшись Люсьен, прыгающей через скакалку. Хорошая фигурка у девочки. И показать себя умеет, какой очаровательный прогиб назад...

— Выше, Люсьен, выше, задорнее! А ты, Александр, не свались с турника — загляделся! Марта, смелее, не бойся, не утонешь. Смотри, как я.

Она следила за детьми, разговаривала с ними, пла-

вала, плескалась, и все стояли перед нею эти горные тропинки, эти мгlistые ущелья, эти камни, исчезающие из-под ног. Но теперь прежние страхи улетучились, осталось только ощущение новизны, какого-то приятного открытия, будто она и в самом деле побывала на Земле. Как все-таки живуче в нас земное притяжение! Оно будет тревожить по ночам и Марту, и ее внуков, и правнуков, пока через триста лет не вернуться они на Землю и не ступят на нее собственной ногой.

Полина знала, что ночные впечатления не развеются весь день. Дела отвлекут на время, она будет давать уроки медицины старшим, разбирать задачки и заниматься музыкой с младшими, кормить животных и работать в лаборатории, будет читать, разговаривать со Свеном или целоваться с ним в полумраке каюты, ~~и~~ а сон не забудется. Здесь, на Корабле, где жизнь течет размеренно и однообразно, где нет и не должно быть никаких событий, событием становится сон, и о нем думаешь, им живешь целый день, а то и несколько дней, пока что-нибудь другое не отвлечет твое внимание, например, болезнь кого-нибудь из детей, или приплод у кроликов, или слишком рано зарождающееся чувство Люсьен и Александра. Или, наконец, новый сон.

Всем другим снам Полина предпочитала прогулку по Земле. Глухие лесные просеки, кроны высоких деревьев, пышные, словно взбитые, облака и синее небо над головой настраивали на лирический лад. Как все-таки любила она Землю! Землю, которую никогда не видела.

— Приготовиться к завтраку! — звонко выкрикнул вбежавший в сад Джон. — Салат! Яичница! Кофе с молоком!

Дети стремглав бросились одеваться! на аппетит никто не жаловался.

Полина поднялась к себе в каюту, подошла к зеркалу. Навстречу ей шагнула из-за стекла молодая, все

еще свежая тридцатилетняя женщина с округлыми щеками, пышными каштановыми волосами и спокойным взглядом больших серых глаз. Если бы не грустинка во взгляде, не озабоченность на лице, она, пожалуй, ни в чем не уступила бы Люсьен: гибкая, цветущая, привлекательная женщина в лучшем женском возрасте, которой еще предстоит родить Кораблю одного, а то и двух детей. Полина тайно улыбнулась своему отражению.

«Надену платье, — решила она, — да поярче, нельзя же вечно в комбинезоне. Может, Свену будет приятно».

Вот уже несколько дней Свен хандрил и пренебрегал зарядкой. В этом не было ничего особенного, такое не раз случалось и с ним, и с нею, да и с другими, кто был до них. Ничего, пройдет. Надоест хандрить, как все на свете надоедает, и Свен с новой энергией примется за дела. А пока его лучше не тревожить, пусть сидит над шахматными этюдами или читает философские книги, взрослому человеку самому лучше знать, как быстрее войти в форму.

Она привела в порядок волосы, перехватила их лентой и, все еще напевая — вот ведь привязалась мелодийка, — подошла к каюте Свена.

— Свен! — позвала она, открывая дверь. — Свен, завтракать!

Каюта была пуста.

Полина поднялась в рубку. На черном небе, не мигая, холодно светились яркие проколы звезд, всегда одних и тех же, равнодушных ко всему.

— Свен!

Никого.

Спустилась в библиотеку, в сад, на ферму, обошла этажи и кладовые, заглядывая в темные углы, будто искала какую-то потерявшуюся вещь, потом вернулась, проверила все двенадцать кают. Свена не было нигде.

«Что за дурацкие шуточки, — подумала она, еще не чувствуя ничего, кроме раздражения. — Корабль не городская квартира, из него не выйдешь прогуляться». И тут, как лавина в горах — грохочущая, неуправляемая, все сметающая на пути, — обрушилось на нее неизбежное прозрение...

На какое-то время мир исчез. Не было ничего: ни вселенной, ни горя, ни самой Полины, ни Корабля, ни боли, ни единственной мысли — только тяжесть, непомерная, убивающая сознание тяжесть.

Потом словно кто-то прошептал: «Не испугай детей. Они там ждут. Самое главное — не испугай детей...»

Через несколько минут побледневшая, но внешне абсолютно спокойная, она села за стол.

— Начнем, ребята, — сказала ровным голосом.

— А где папа? — пискнула Марта.

— Ему нездоровится, детка. Он поест попозже.

Она сумела произнести эти слова хладнокровно. И тут же поймала на себе острый, допытывающийся взгляд Александра, отметила, как разом исчез румянец с лица Люсьен. Все остальные, не обращая внимания на старших, принялись за салат.

— Мама, я хочу редиску. Скоро поспеет редиска?

— Скоро, дочка.

Она взяла нож, чтобы разложить по тарелкам яичницу. Нож оказался тупым, шершавым. И вообще это был не нож... Это был куст, слабенький куст, выданный с корнями из отвесной скалы, по которой она, полуживая, карабкалась вверх, спасаясь от лавины.

Она почувствовала, что камни под ногами исчезают, исчезают, и ей не за что больше ухватиться, не на что опереться... а внизу пропасть... глубокая... бездонная...

Полина выронила нож и обеими руками вцепилась в край стола.

ДВЕРЬ

Над ними были звезды. Чужие звезды, не такие, как на Земле. И не только потому, что очертания созвездий немного изменились — здесь звезды приобретали особый смысл, здесь они были не далеким, почти призрачным украшением небосвода, а единственной реальностью окружающего. Все знали, что перед ними не подлинная картина мироздания, а лишь копия, нарисованная наружными антеннами на куполообразном экране, — однако это ничего не меняло. Недаром устав Корабля предусматривал проводить воспитательные беседы с детьми в рубке — только перед лицом вселенной можно до конца осознать всю дерзновенность предпринятого ими: жалкая горстка людей, слабых существ, жизнь каждого из которых — мгновение, с трудом оторвавшись от своей заурядной планетки, с трудом преодолев притяжение своего заурядного солнца, рискнула познать бесконечность звезд, назвать себя равными им.

Нет, сколько ни внушай подрастающему человеку, как ответственна его задача, какие надежды связывает с этой экспедицией Земля, доводы разума ничто перед эмоциональной встряской, когда человек остается наедине со звездами. Только здесь ощущаешь себя частью великого сообщества людей, одним из семи миллиардов, выполняющим особо ответственную миссию, только здесь понимаешь, что на тебя смотрит человечество, и поэтому в полной мере сознаешь себя не пассивным пленником Корабля, а личностью, от которой зависит будущее Земли.

Полина смотрела на звезды глазами взрослого, много передумавшего, много выстрадавшего человека. Александр — холодно, серьезно, озабоченно, как рассудительный юноша и будущий командир. Люсьен смотрела восторженными детскими глазами, но к ее наивному восторгу уже примешивалось удивление пугающим несоот-

ветствием масштабов звезд и дерзнувшего познать их человека.

Да, непросто было Полине начать разговор. Она откладывала его со дня на день, с часу на час, и чем дальше откладывала, тем меньше оставалось в ней решимости. Еще слишком слабая, издерганная и взбудораженная, она боялась, что не выдержит, расплатится перед детьми — и все только испортит.

«Бесстрастно, совершенно бесстрастно, — уговаривала она себя. — Сообщи им обо всем сухими официальными словами, как сделал бы это Консультант. Вот именно, как старина Консультант. Факты, только факты!» Но уговоры не действовали. Ее сковывала ответственность предстоящего разговора, в котором малейшая ошибка, малейшая фальшь может оказаться непоправимой.

— Я должна сказать вам об этом, — трудно проговорила наконец Полина. — Свен УШЕЛ от нас.

Александр молча ждал объяснений. Люсьен не выдержала:

— Ушел? Ушел с Корабля? Что значит ушел? Куда?

Вымученная улыбка скользнула по лицу Полины. Так она и знала. Их интересует, не почему он ушел, а куда ушел. Куда можно уйти с Корабля, несущегося среди звезд?!

— Устав запрещает сообщать об этом детям, не достигшим восемнадцати лет. Но я должна раскрыть вам все, у меня нет другого выхода. Обстоятельства изменились, и в этих обстоятельствах приходится считать вас взрослыми. Те, кто сконструировал Корабль и направил его к звездам, предусмотрели для членов экспедиции возможность УЙТИ. Это было необходимо. Во-первых, человечество не вправе насильно посылать кого-либо на подвиг, подвиг — дело сугубо добровольное, а ведь наш полет — своего рода подвиг. И коли у нас нет иного способа отказаться от участия в этом подвиге, предусмот-

рена возможность УЙТИ. Во-вторых, УЙТИ может человек, почувствовавший серьезные отклонения в своей психике. Истерик, брюзга, человеконенавистник способен вывести из строя весь экипаж. Поэтому он имеет право сознательно избавить Корабль от своей персоны. И наконец, УХОД предусмотрен для лиц, совершивших преступление. Тоже добровольный УХОД...

— Но уход... куда? — опять не выдержала Люсьен. Щеки ее пылали. Александр, наоборот, был необычайно бледен.

— Подожди, девочка, всему свое время. Корабль уже знает два случая УХОДА. Когда умер Джон, первый наш командир, УШЛА Софи, его жена: она не могла жить без Джона. Позднее УШЕЛ, совершив преступление, Рудольф. Какое преступление, как, что и почему — вы узнаете, когда будете изучать историю Корабля. Пока важно не это. Важно, что и Софи и Рудольф имели веские основания УЙТИ. Почему ушел Свен, я не знаю. Не вижу оснований.

— Разве он ничего не сказал вам, тетя Полина?

— Нет, девочка, он ничего не сказал нам. Может, в будущем мы поймем это, во всяком случае, постараемся понять.

Люсьен укоризненно глянула на Александра: дескать, вот какие вы все, мужчины.

— А теперь спустимся вниз, я покажу вам, куда УШЕЛ Свен.

Они покинули рубку и, миновав жилые помещения и три этажа складов, спустились к машинному отделению. Едва заметная вибрация корпуса ощущалась здесь не больше, чем там, наверху, но шум работающего двигателя слышался отчетливее. Полутемный коридор уперся в овальную стальную дверь.

— Прежде Корабль кончался для вас здесь, — сказала Полина, набирая шифр на замке. — Теперь посмотрите машинное отделение. Реактор и все вспомогатель-

ные системы работают автоматически, но вход людям разрешен.

Дверь открылась, в помещении вспыхнул свет. Молча прошли серпантином узкого серого коридора, остановились у другой такой же двери. Дальше идти было некуда. Полина нажала рукоять — и в массивном корпусе двери появилось крохотное оконце. За его стеклом бушевал адский пламень.

— Вот эта дверь. Она открывается особым секретным шифром, который вы узнаете в двадцать лет. За этой дверью нет ничего. Там реактор.

Глаза Люсьен округлились, в них заплескали синие отблески.

— Значит, он УШЕЛ туда, — прошептал Александр.

— Да, он ушел туда.

— Но ведь это жестоко! — выкрикнула, ломая пальцы, Люсьен. — Зачем они придумали эту чудовищную дверь?!

— Я не имела права посвящать вас в тайну УХОДА, но так случилось, слишком рано приходится вам взрослеть. Да, девочка, это жестоко. Но есть в жизни жестокости, без которых не обойтись. Без этой заранее предусмотренной жестокости экспедиция никогда не достигла бы Цели.

— Почему? Почему?!

— Потому что человек, не желающий лететь к звездам, чувствовал бы себя пожизненным узником, заключенным в Корабль без всякой вины. Потому что опасно жить бок о бок с преступником или сумасшедшим. И раз уж человек решил покончить с собой, разве лучше, если бы Свен повесился у себя в каюте и его увидела Марта? Нет, дети, поверьте мне и не называйте жестокостью то, что со временем оцените как гуманность. Конечно, УХОД — явление исключительное. Но человек всегда должен иметь возможность выбора.

— Вы оправдываете его?! — задыхаясь, выкрикнул Александр.

— Никогда!

И тут она сорвалась. Не хватило выдержки, не хватило железной бесстрастности Консультанта. А главное, только здесь, у этой двери, окончательно осознала она всю глубину своего одиночества.

Одна, навеки одна!..

ПЕРВЫЕ

Что случилось бы с нею в эти дни отчаяния и безнадёжности, если бы не ежеминутная поддержка отца?

Большой, бородатый, с густым низким голосом и добрым взглядом из-под лохматых бровей, он, как в детстве, часами просиживал с нею, и Полина снова чувствовала себя девочкой, удивленной и восхищенной громадностью жизненного опыта взрослых. Он рассказывал о Земле, о людях и о себе, а она впитывала каждое его слово, каждый жест, каждую улыбку — и постепенно обретала прежнюю устойчивость.

Она была еще очень слаба и порой забывала, что всего лишь вспоминает сказанное им ранее. Ей казалось, это не просто память об отце, это нечто несравнимо большее: он сам, живой и осязаемый. Он передал ей в наследство лучшие черты своего характера, он воспитал в ней мужество, волю и выдержку. Он был частью Полины, и она была его частью. И теперь он снова пришел к ней, чтобы поддержать в трудный час, помочь не поддаться отчаянию, не согнуться перед бедой. Без него она не выстояла бы.

— Видишь ли, дочка, здесь, на Корабле, наши жизни не принадлежат нам. Мы, Первые, сами, добровольно выбрали свой удел. Вы и те, кто придет за вами, должны следовать этому в силу отсутствия другого вы-

бора. Наши жизни принадлежат Земле. И поверь, Земля никогда не послала бы нас к звездам, если бы от нашей экспедиции не ждали ответа на вопрос: останется ли человечество навек прикованным к Солнцу, или шагнет в Большой Космос. Мы Первые, Полина, а путь первых всегда труден. Опасен. Порой трагичен. Но должен же кто-то быть первым...

«Должен же кто-то быть первым» — эта бесхитростная формула сопровождала ей всю жизнь. Порой, выведенная из себя житейскими невзгодами, усталая или обиженная, Полина возмущалась: почему не другие, почему именно мы? Но тут же вспоминала покоряющую улыбку отца и его неопровержимый в своей простоте довод: должен же кто-то быть первым, так почему другие, почему не мы?

— Как будто бы наша задача совсем проста — выжить самим и вырастить тех, кто останется после нас. Беззаботная жизнь, как у травы, не правда ли? Но так только кажется. Выжить самим и вырастить следующее поколение в условиях Корабля невероятно трудно. Кроме всего прочего, еще и потому, что каждый из нас не просто человек сам по себе, но и звено в цепи поколений. От каждого, буквально от каждого зависит успех экспедиции. Только подумай, десять-двенадцать поколений, и ты в ответе за того, кто придет после тебя не завтра, не к закату твоих дней, а через триста лет. Огромная ответственность, и она давит на психику, мешает жить просто, как трава. Но без этой ответственности нельзя. Если каждый не осознает себя гражданином Корабля, цепочка может прерваться, и тогда все полетит в тартарары — все усилия и старания предыдущих поколений. Зато одно немаловажное обстоятельство психологически укрепляет нас: Цель жизни. Поскольку здесь все равно невозможно то полное, безусловное счастье, право на которое человек, живущий на Земле, получает от рождения, поскольку наши жизни не при-

надлежат нам, — мы все, каждый, должны до конца мужественно донести свою ношу. Иначе наша жизнь теряет смысл. Вот так, дочка...

Она была самая младшая из первого поколения родившихся на Корабле. Когда отец рассказывал ей о Цели жизни, Полине исполнилось тринадцать лет. О, как памятен ей этот возраст широко распахнутых на мир глаз и тайно зреющих вопросов, которые не вдруг задаешь взрослым, возраст критической переоценки окружающего и благодатных всходов коллективизма в прежде эгоистичной душе!

Она сидела на зеленой скамейке в саду, прижавшись головой к плечу отца. А рядом примостилась хорошенькая Марго, очень похожая на сегодняшнюю Люсьен, да и в тех же годах, за ней уже тогда приударял Свен, — и тоже впитывала каждое слово командира. Алекса любили все, весь экипаж — такой уж это был человек. Наверное, именно поэтому дети Корабля постоянно терзали его своими бесконечными проблемами, сомнениями и недоумениями.

В другой раз Полина спросила: почему же так получилось, что на Земле, воплощающей собою Разум и Порядок, существует не одно государство, а несколько — с собственными обычаями, законами и правительствами? Отец едва заметно усмехнулся в усы.

— Чтобы понять сегодняшний день, дочка, — сказал он со вздохом, — надо знать историю. А история складывается из двух очень непохожих вещей: генерального направления, которое можно предвидеть наперед, потому что оно предопределено всем ходом развития человечества, и запутанных закоулков случайного, через которое следует человечество в поисках своего генерального направления. Изучи эти два слагаемых, и ты поймешь сегодняшний день.

Слова отца крепко запали ей в память, и теперь, силась прорваться сквозь беду, сквозь отчаяние, сквозь

тяжесть свалившейся на нее ответственности к пониманию происходящего, она снова и снова с благодарностью вспоминала практические уроки истории, преподанные ей отцом. В его пересказе воскресали эпохи, оживали прежде недвижные статуи исторических личностей, сталкивались и объединялись страсти, пристрастия, страстишки, приходили в действие скрытые пружины интриг, тайных сговоров, кастовых интересов — и через все это пестрое, многоцветное нагромождение конкретного шествовала неудержимая машина исторической необходимости...

Итак, чтобы постичь случившееся, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, она должна вспомнить историю Корабля. Нет, не вспомнить — прочесть заново, иными, прозревшими глазами, призвать историю на помощь.

История Корабля... Список рождений и смертей. Однообразный, как сама жизнь на Корабле, где нет места никаким другим событиям. Только первая дата отличается от всех, да еще, может, последняя будет отличаться — через триста лет. Вот они, эти анналы, эти святцы Корабля, краткая летопись сорока восьми лет...

* * *

14 ИЮЛЯ 2112 г. — СТАРТ ПЕРВОЙ ЗВЕЗДНОЙ.

Два года ученые разных стран Западного Содружества готовили экспедицию и формировали экипаж, отбирая из тысяч добровольцев восьмерых наиболее подходящих. Эти восемь избранных должны были отвечать многим и многим требованиям, чтобы следующие за ними поколения Корабля обладали отменным здоровьем и жизнестойкостью; они, эти восемь, должны были соответствовать друг другу по чертам характера, по десяткам биологических и психологических признаков, ибо главное в подборе экипажа — совместимость. Ученые с

самого начала понимали, что нет ничего более опасного для экспедиции, чем затаенная до поры ненависть, или простое, вполне понятное и все-таки необъяснимое «я его не переносу», или передающаяся от поколения к поколению родовая склока, непримиримая вражда космических Монтекки и Капулетти. К этому добавлялось еще и требование равной представительности стран Содружества.

Их было восемь, восемь звездных первопроходцев, четверо тридцатипятилетних мужчин и четыре двадцатипятилетние женщины. До старта они никогда не видели друг друга. Их готовили порознь, их тренировали и обучали в разных странах, и они ничего не знали о семерых своих спутниках, кроме национальности.

Когда огромная толпа под жгучим полуденным солнцем собралась проводить Первую Звездную, они, участники экспедиции, через головы родственников и друзей старались высмотреть тех, с кем суждено провести остаток жизни. Они навек отрывали себя от Земли, от своего времени, от привычного жизненного уклада, от друзей и родных, от семьи — чтобы затеряться в ледяной космической пустыне и никогда не узнать, чем кончится экспедиция, вернется ли Корабль на Землю через триста лет, обогнув одну из ближайших к Солнцу и все же такую далекую звезду. Им было о чем подумать в эти минуты, было что вспомнить, было с кем попрощаться, — а они старались угадать: кто же, кто из тысяч собравшихся здесь летит вместе с ними?! Уже тогда тяга к звездам пересиливала в них земное приращение.

Над равниной звучала торжественная музыка, ослепительно сверкали трубы оркестров, душно пахли цветы, ученые и государственные деятели говорили речи, и уже все было сказано и вслух и вполголоса, уже попрощались со всеми, с кем полагается прощаться, а они все еще не знали друг друга.

Потом Алекса усадили в автомобиль, увезли подземным туннелем к Кораблю, покоившемуся в глубокой шахте, и там совсем буднично, торопливо и деловито, почти похоронили в похожей на саркофаг ванне с вязкой жидкостью. Только он лег в эту ванну, надев специальный жизнеобеспечивающий скафандр, только почувствовал, что плавает, — и сразу сознание его затуманилось: наступил месячный стартовый анабиоз, облегчающий колоссальную перегрузку отрыва от Земли и от Солнца.

А когда он пришел в себя, над ним склонился высокий сухощавый человек с седыми висками. Это был Джон, командир экспедиции, американец. Алекс долго не мог понять, где он и что с ним происходит, пока не сообразил: да это же первый из его спутников!

В то время уже ни Земля, ни Солнце не могли достать их своим притяжением, потому и стало возможным покинуть анабиозную ванну.

Потом они посмотрели видеозапись старта, принятую с Земли аппаратурой Корабля, когда они спали в ваннах сном праведников. Последние команды прозвучали над притихшей толпой, охрипшие от волнения динамики отсчитали последние секунды — и вместе с огненным смерчем, что вырвался, казалось, из самых глубин планеты, поднялась над равниной гигантская серебристая ракета, повисла на мгновение и, прочертив небо, умчалась в неведомое, растаяла в синеве. Когда грохот смолк, случайные нестройные вскрики раздались над космодромом, и диктор сказал: «Счастливого пути, друзья!»

Полина много раз видела эту запись, с которой началась поступь Необходимого в жизни Корабля. А потом на сцену вышло Случайное, непредвиденное, и оно тоже наложило свой отпечаток на историю Первой Звездной. И теперь, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, надо вспомнить историю экспедиции. И надо пере-

дать эту историю следующим поколениям, чтобы обогатить их память и вооружить на случай нового непредвиденного.

* * *

7 ФЕВРАЛЯ 2116 г. — РОЖДЕНИЕ ФРЕДА У ДЖОНА И СОФИ.

26 НОЯБРЯ 2116 г. — СМЕРТЬ ДЖОНА; АЛЕКС ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ КОРАБЛЕМ.

2 ДЕКАБРЯ 2116 г. — УХОД СОФИ.

Первые годы на Корабле были для них праздником. Уже зрелые люди, они снова почувствовали себя юнцами, вырвавшимися на каникулы с хорошей, веселой компанией. Непривычный, заманчивый, полный любопытного мир открылся перед ними. Они еще только познавали новую для них жизнь, постепенно привыкая к Кораблю и друг к другу. Это было время, когда устанавливались первые отношения первых: первая привязанность, первая дружба, первая любовь, первая космическая семья, когда незаметно, исподволь складывались традиции Корабля и ежедневный праздник еще не сменился ежедневными буднями.

Джон оказался хорошим командиром, волевым, требовательным, справедливым. И если все же преобладали в его характере жесткость и непреклонность над общительностью и добротой, то это с лихвой окупалось мягкостью его заместителя Алекса, с которым связала Джона крепкая мужская дружба.

На четвертый год полета у Джона и его жены, итальянки Софи, родился сын Фред — первенец Корабля. Рождение ребенка в космосе считалось тогда известным риском, и первым пошел на риск командир. Было все, что бывает в таких случаях на Земле: шампанское, цветы, подарки, даже импровизированный спектакль. А через несколько месяцев Джон слег: свалила какая-то

страшная, неизвестная на Земле болезнь. Она началась с необъяснимой апатии, а кончилась отеками всего тела и параличом. Ни Этель, врач экспедиции, ни Консультант, универсальная информационная машина, ничем не могли помочь.

Перед смертью Джон передал Алексу свой дневник — подробные записи течения болезни. Оказалось, Джон болел уже почти год, и никто не заметил этого! Как ни мучили его боли, как ни наседала въедливая, непреодолимая апатия, ни единым словом, ни единым жестом не выдал он изводившего его недуга. Это был период формирования семей и становления обычаев, и Джон не хотел, чтобы его страдания нежелательной мрачной ноткой откликнулись для тех, кто придет после него. Этель сделала все возможное, но и она многого не знала. Лишь толстая тетрадь, от корки до корки испсанная аккуратным убористым почерком, поведала о симптомах зарождения болезни, и о бесплодных попытках лечения, и о серии опытов, которые Джон, отыскивая причину недуга, поставил на себе. Начав эти небезопасные эксперименты, Джон уже не надеялся на выздоровление — он думал о будущих поколениях Корабля.

До последнего дня он страдал молча, вот почему его смерть показалась неожиданной. И только Алекс успел при жизни Джона оценить его подвиг и понять, какая большая душа скрывалась за непреклонностью и деловитостью первого командира.

Джона схоронили в реакторе, как полагалось в уставу. А через несколько дней Софи, застенчивая и замкнутая Софи, всегда тенью следовавшая за Джоном, УШЛА с Корабля. Казалось, эта худенькая большоглазая женщина, молчаливая и необщительная по натуре, не оставила после себя ничего — если не считать сына. Лишь много позднее среди ее вещей обнаружили рукописную поэму — восторженный и наивный гимн

любви. Марта, лучше других знавшая итальянский, с трудом разобрав исчерканные, перемаранные строки, сказала почти с испугом: «Дантова сила! Кто бы мог подумать...»

Если смерть Джона от тяжелой болезни была несчастьем, которое можно понять и пережить, то неожиданный УХОД здоровой, полной сил женщины, молодой матери, потряс всех. Экипаж охватило что-то похожее на шок. Оставалось только полшага до суеверий, до страха обреченности Корабля, до веры в дурное предзнаменование. И если бы не Алекс, ставший командиром, кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба экспедиции...

* * *

11 ЯНВАРЯ 2118 г. — РОЖДЕНИЕ СВЕНА
У УЛЬФА И ЭТЕЛЬ.

3 АВГУСТА 2120 г. — РОЖДЕНИЕ ЛИДИИ У РУ-
ДОЛЬФА И ЕВЫ.

У маленького Фреда появились сверстники. Бездетными оставались только Алекс и его жена француженка Марта. На командире больше, чем на ком-либо другом, лежала ответственность за регулирование населения Корабля, а каждое прибавление члена экипажа сверх оптимального числа ухудшало условия жизни остальных. Еще и другая причина руководила Алексом. Достаточно насыщенная программа исследований оставляла все-таки свободные часы, которые не всякий умел занять. А с детьми много забот, и пока есть на Корабле хоть один маленький, дел у всех по горло и времени для чрезмерного внимания к собственной персоне попросту не остается. Но как только дети подрастают...

22 МАЯ 2124 г. — СМЕРТЬ УЛЬФА.

24 МАЯ 2124 г. — УХОД РУДОЛЬФА.

4 ЯНВАРЯ 2125 г. — РОЖДЕНИЕ МАРГО
У УЛЬФА И ЕВЫ.

8 ЯНВАРЯ 2125 г. — СМЕРТЬ ЕВЫ.

На этот раз непредвиденное явилось в облике красавицы Евы, жены пунктуального немца Руди. Семьи на Корабле складывались по любви, но все-таки Корабль не Земля, чтобы обеспечить каждому выбор по вкусу. Алекс еще раньше заподозрил неладное с Евой — уж слишком тянуло ее к Ульфу. Но Ульф полюбил Этель, а потом и Ева стала женой Руди, родила дочь, и как будто все уладилось. Однако Алекс понимал, что стоит Ульфу подать надежду Еве — и затаившаяся искорка обернется пожаром. Вот почему и стремился Алекс как можно дольше загружать Еву заботами о детях. Устав Корабля не требовал соблюдения брачного контракта до конца жизни, предусматривался развод и новый брак, да и вся прежняя жизнь строилась на взаимном доверии, так что всегда можно было избежать драмы, заменив ее на худой конец нудным, но бескровным бытовым конфликтом.

Однако в своей страсти Ева — ох уж это имя! — пренебрегла доводами разума. Алекс понимал ее: она была женщина, может быть, слишком женщина, а женщина так уж устроена, что сметает все преграды на пути любви и добивается своего любой ценой. И все-таки, учитывая чрезмерную эмоциональность Евы, ее не следовало включать в состав экспедиции. Дорого же обошлась Первой Звездной эта ошибка!

В первые годы, годы сплошного праздника, душой компании стал Ульф. Все, к чему бы он ни прикоснулся, проникалось легкостью, изяществом, мимолетной пре-

лестью. Артист по призванию, придумщик и остролов, он режиссировал свадьбы, именины и крестины, он затевал искрометные спектакли, главная роль в которых всегда принадлежала Еве. И хотя на самом деле Ульф был глубже, значительнее, именно эти внешние черты сделали его в глазах Евы героем.

Она не разглядела и Руди. Добродушный, медлительный, основательный во всем, он, чтобы не казаться педантом, разыгрывал порой этакого простачка, над которым не грех позубоскалить. Понятно, он казался ей увальнем, тюфяком, личностью будничной и серой.

Когда праздники канули в прошлое и обыденное вступало в свои права, Ева затосковала. Ее натура настоятельно требовала яркого, драматического. В какой-то момент Ульф не выдержал осады — грянула драма. Рассудительный, уравновешенный Руди, оказавшийся вспыльчивым ревнивцем, застав жену в каюте Ульфа, убил его молотком.

Это встряхнуло Корабль, как столкновение с метеоритом. Не было сказано ни слова, но Руди знал, что должен УЙТИ, и он УШЕЛ. Ни командир, ни весь экипаж не имели права отменить этот суровый приговор. Жестокость была оправдана, возмездие должно было стать фактом истории, и оно стало фактом истории. Никто не осуждал ни Ульфа, павшего жертвой обдуманных чар Евы, ни Руди, ослепленного ревностью, — все осуждали только Еву, так уж повелось. И, выполнив свой последний долг, родив Марго, дочь Ульфа, Ева, истерзанная укорами совести, умерла в послеродовой горячке.

Алекс подвел печальный итог первых тридцати лет пути. Тридцати из трехсот. Дружный и веселый коллектив растаял, из восьмерых осталось только трое. Трое взрослых и четверо детей. Это пахло катастрофой. И не будь командиром Алекс, могло случиться, что дальнейший полет Корабля потерял бы всякий смысл.

Перед Алексом возникла задача почти непосильная: за те, может быть, немногие годы, которые предстояло ему прожить, он должен был создать коллектив заново. Это значило — воспитать детей, заменив им собою всю Землю. Это значило — передать детям не только знания, необходимые, чтобы донести их до следующих поколений, но и то чувство ответственности за судьбу экспедиции, без которого знания — лишь ненужная обуза. И это значило — предостеречь будущие поколения от ошибок, свершившихся на его глазах. Только невероятная энергия добродушного фламандца, его выдержка, его воля позволили выполнить эту, казалось, невыполнимую задачу. Алекс оставил после себя новый коллектив, состоящий из семерых взрослых и одного ребенка, — коллектив, на который можно было положиться во всем.

* * *

1 МАЯ 2128 г. — РОЖДЕНИЕ ПОЛИНЫ У АЛЕКСА И МАРТЫ.

На этом история заканчивалась, всему остальному Полина сама была свидетельницей. Она помнила отца еще безбородым и мать сравнительно молодой, но вот тетя Этель, вдова Ульфа и мать Свена, почему-то всегда представлялась ей седой аккуратной старушкой, ласковой бабушкой всех, независимо от степени родства, детей. На этом история заканчивалась для Полины. Но для других, для Александра и Люсьен, например, история продолжалась.

Сравнивая судьбу Первого и Второго поколений, Полина неизбежно приходила к выводу о том, что Первые, родившиеся под Солнцем, вскормленные земными реками, подвержены эмоциям, порыву, настроению. Сильные люди, цельные люди, они подчинялись чувству, а не рас-

судку. Цельность их натур и восхищала и пугала Полину. Ей казалось, они взяли с собой на Корабль все страсти земные.

Второе поколение словно утратило что-то в тепличной атмосфере Корабля. Или горький опыт Первых научил их обуздывать себя? Или сказалось воспитание под звездным куполом? Во всяком случае, ничего драматического в историю Корабля Второе поколение не вписало. Были несчастья, ссоры, слезы, были мелкие конфликты, но обошлось без драм.

БЕЗ ДРАМ

1 МАЯ 2128 г. — РОЖДЕНИЕ ПОЛИНЫ У АЛЕКСА И МАРТЫ.

2 АПРЕЛЯ 2140 г. — СМЕРТЬ МАРТЫ.

14 СЕНТЯБРЯ 2141 г. — РОЖДЕНИЕ АЛЕКСАНДРА У ФРЕДА И ЛИДИИ.

22 ФЕВРАЛЯ 2143 г. — СМЕРТЬ АЛЕКСА; ФРЕД ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ КОРАБЛЕМ.

30 ДЕКАБРЯ 2145 г. — РОЖДЕНИЕ ЛЮСЬЕН У СВЕНА И МАРГО.

18 ИЮЛЯ 2150 г. — РОЖДЕНИЕ ДЖОНА-МЛАДШЕГО У ФРЕДА И ЛИДИИ.

16 МАРТА 2154 г. — РОЖДЕНИЕ СЕРЖА У СВЕНА И МАРГО.

ИЮЛЬ — НОЯБРЬ 2155 г. — СМЕРТЬ ЛИДИИ, ЭТЕЛЬ, ФРЕДА И МАРГО; СВЕН ПРИНЯЛ КОМАНДОВАНИЕ КОРАБЛЕМ.

8 МАРТА 2157 г. — РОЖДЕНИЕ МАРТЫ-МЛАДШЕЙ У СВЕНА И ПОЛИНЫ.

Корабль был просторный, настолько просторный, что невольно наводил на мысль о расточительстве: зачем забрасывать в космос целый дворец, если экипаж

не без комфорта обошелся бы втрое меньшим помещением? Пластиковая дорожка, например, вполне годилась для велогонок, объявись у них вдруг нормальные велосипеды. И все-таки главное неудобство Корабля состояло как раз в том, что был он слишком тесен, чтобы стать для горстки оторванных от Земли людей не только домом, но и миром.

Наверное, когда человек счастлив и спокоен, на него не очень-то действует обстановка; но стоит потерять душевное равновесие — и тебе мешает жить, раздражает и выводит из себя каждая мелочь. Как давили на нее стены Корабля! Куда ни пойдешь, куда ни глянешь — всюду натыкаешься на осточертевший овал, за которым кончается белый свет, за которым нет ничего! «Одна только эта замкнутость пространства, — думала в иные дни Полина, — способна свести с ума».

Если бы, бродя по этажам, она хогь раз наткнулась на какую-нибудь кладовочку, неизвестную раньше, на какой-нибудь укромный уголок, где не бывала уже тысячу раз, если бы откуда-то выпорхнула бабочка или стрекоза! Однако ничего такого не произошло ни разу. Их тесный мирок был ограничен непробиваемыми бронированными стенами, через которые не смела проникнуть даже мысль, даже фантазия.

До пятнадцати лет Полина как-то не замечала этих стен, но, когда умер отец и у нее появилась неодолимая потребность уединения, она вдруг остро ощутила враждебность и противоестественность поставленного ей предела. Она металась по Кораблю в поисках тайного угла, где можно посидеть спокойно хотя бы час, не опасаясь, что тебя начнут развлекать и веселить, но такого угла не было; каюта не в счет, в каюте она жила, а ей хотелось найти пристанище где-то «на воле». Не обнаружив ничего лучшего, она облюбовала ту самую зеленую скамейку в саду, на которой, бывало, сживал отец. Скрытая густыми зарослями акации скамейка

гарантировала, по крайней мере, видимость покоя и уединения.

Сколько дум передумала Полина, прячась на этой скамейке, сколько невысказанных жалоб проглотила, сколько слез пролила!

Именно здесь впервые пришла ей горькая мысль о несовершенстве маленького общества экспедиции. «Как же так, — рассуждала пятнадцатилетняя девочка Полина, — как же так, если они, Первые, сумели стать несчастными, когда у каждого была жена или муж, друг, одним словом, — то что же будет со следующими поколениями, если какая-то девушка или какой-то юноша останется без спутника жизни? Неужели нельзя придумать что-то, чтобы избежать этого унижительного, недостойного человека недоразумения?!»

Тогда она еще не имела в виду себя, хотя предчувствовала, что ей первой суждено испытать сию чашу. Однако уже через два года эта мысль не давала ей покоя; она опоздала родиться, и теперь для нее не осталось никого в их поколении, она лишняя, лишняя! Так пришло одиночество.

Она тихонько рыдала на своей скамейке, и кусала пальцы, и думала беспощадно, не жалея ни себя, ни других: «Мало того, что нас оторвали от Земли и заперли в этих стенах, которые страшнее всякой тюрьмы, потому что не оставляют малейшей надежды на избавление, — меня еще и обрекли на вечное одиночество. Даже здесь, в нашем стерильном мирке!»

Это отчаяние, эти слезы не были беспричинными, наоборот, причину имели вполне конкретную, но какая же семнадцатилетняя девочка на ее месте догадалась бы, что дело тут вовсе не в замкнутости Корабля, не в одиночестве, а всего лишь в неразделенной любви! Она и не подозревала, что те же муки терзали, терзают и всегда будут терзать семнадцатилетних девочек на Зем-

ле, бесконечно одиноких среди людей, потому что им нужен не кто-то, не любой, а именно тот, чье сердце уже отдано некой счастливой избраннице.

Тот, единственный, в кого она была влюблена, звался Свен, а его счастливая избранница носила имя Марго. Полина любила Свена, любила Марго и никогда не пожелала бы им ничего дурного. Милая, приветливая, беззащитная, вся распахнутая настежь, вся светящаяся добротой, такая привлекательная, такая женственная Марго!.. Если бы она только узнала о муках Полины, она, не раздумывая, тут же отказалась бы от своего счастья. Но в чем была виновата Марго? И почему Марго должна была пострадать? Нет, Полина не выдала тайны. Ни Свен, ни Марго так и не узнали никогда о ее любви; о ней не знал никто, кроме зеленой скамейки, а скамейка умела хранить девичьи секреты.

Первая любовь... Болезнь неизбежная, как ветрянка, и как ветрянка — несмертельная. Если бы люди не излечивались от этой сладостной лихорадки, человечеству давно уже пришел бы конец.

Еще прежде, чем Свен и Марго поженились, Полина подобрала подходящее лекарство и почти полностью выздоровела. Научившись обнаруживать недостатки в характере Свена, примечать любой его промах, любую нетактичность, любую сказанную им глупость, она с удовлетворением складывала из этих деталей, как ребенок из кубиков, новый облик Свена — и Свен представлял перед нею ленивым, бездеятельным, непоследовательным в своих идеалах, невнимательным и нечутким даже к Марго, эгоистичным до черствости, циничным и грубым. Кстати, это замечала и Марго, значит, Полина не относилась предвзято к своему прежнему кумиру, она лишь обрела объективную точку зрения. Однако если Марго смотрела на недостатки Свена сквозь пальцы и даже с улыбкой, то Полина вскоре научилась

сопоставлять Свена с тем единственным идеалом, который она знала, — с отцом, и в этом беспощадном сравнении Свен еще больше проигрывал. Наконец он стал ей почти безразличен, почти как все...

Осознав себя взрослой, Полина пришла к выводу, что ничего страшного не случилось, был обычный возрастной перелом, осложнившийся тем, что как раз в это время она осталась без отца, единственного настоящего друга и советчика. До пятнадцати он формировал ее характер, с семнадцати она сама взялась за себя, да так, что и отец позавидовал бы. А два года, памятные любовью и слезами, — всего лишь безвременье. Никаких драм в ее жизни не произошло, считала Полина. Как и все на Корабле, она ненавидела драмы и боялась их: слава богу, у них и без того достаточно забот, и без того велика ответственность...

Но так или иначе, если отвлечься от слишком личных, а потому несущественных для истории переживаний, двадцать семь лет со дня рождения Полины протекали подобно спокойной полноводной реке. Жизнь шла хорошо и размеренно, даже чересчур размеренно, и Полине казалось, что так и должно быть, что существование на Корабле и есть нормальная человеческая жизнь, а рассказы о Земле — только сказка, заманчивая, но ненужная сказка, уводящая в бесплодные мечтания, отвлекающая от повседневных дел.

Все ее сверстники из Второго поколения переженились, обзавелись детьми, лишь Полина оставалась одна. Ей по-прежнему не светило впереди, однако теперь она относилась к этому спокойно и не унывала. Устав Корабля не только разрешал, но и обязывал ее стать матерью, и она знала, что рано или поздно родит ребенка от Свена, но пока не спешила. Она любила маленького Александра, а позднее Люсьен, Джона и Сержа, как собственных детей, и они отвечали ей взаимностью. О чем еще оставалось мечтать?

На этот раз непредвиденное не было абсолютно непредвиденным. В течение нескольких месяцев та же болезнь, от которой умер Джон, скосила сразу четверых: Лидию, тетю Этель, Фреда и Марго. Теперь, имея дневник Джона, они уже знали кое-что, и они приняли все возможные меры. Сутки напролет Фред, Полина и Марго просиживали у лабораторных столов. Тысячи анализов питьевой воды, воздуха, пищи, уровня радиации не дали никаких результатов. Гипотеза о том, что в замкнутой экологической схеме Корабля, в этом бесконечном круговороте вещества что-то разладилось, не подтвердилась. Ни воздух, ни вода не содержали никаких вредных примесей, во всяком случае, не больше, чем на Земле, пища тоже оказалась вполне доброкачественной, богатой витаминами. И все-таки это напоминало постепенное отравление: отказывали почки.

Может быть, отравляли не химические вещества, а само сознание, что вода, которую они пьют, — это отходы людей и животных, что пища, которую они едят, заново воссоздается в Синтезаторе, что даже табак, который они курят, пропитан уловленным из воздуха никотином прежних сигарет и трубок? Фред склонялся именно к этой гипотезе. Попробовали поить заболевшую первой Лидию дважды очищенной водой и кормить только натуральной пищей, до крайнего возможного предела сократив поголовье кур и кроликов, — не помогло. С полной нагрузкой работал Консультант, предлагая все новые и новые остроумные опыты и эксперименты, требуя все новых и новых анализов, — и тоже напрасно...

А Корабль летел к своей звезде, и, значит, надо было жить, чтобы выполнить задачу экспедиции. Свен стал командиром, Полина — его женой.

Вот когда она пожалела, что так рьяно выискивала

недостатки Свена, что от бывшего переполнявшего ее чувства остались одни крохи. За непримиримость юности пришлось расплачиваться разочарованием,

Полине казалось, Свен меньше всего подходит для роли командира. Правда, само это слово уже потеряло первоначальный смысл, истинными командирами были, пожалуй, только Джон и Алекс, уже Фреда точнее следовало бы назвать старейшиной коллектива или даже главой семьи. Тем более Свен. Он так и не пришел в себя после свалившейся на них беды. Ему явно не хватало энергии, целеустремленности, умения мыслить масштабами экспедиции. Да и в характере его преобладала созерцательность, какая-то болезненная углубленность в суть незначительных вещей и явлений, стремление чего бы то ни стоило докопаться до этой никому не нужной сути. Философствования Свена, его житейская неспособность раздражали Полину, мешали ей действовать активно. Она старалась помогать ему во всем и по возможности не выказывать его слабости перед младшими, но Александр и Люсьен уже многое понимали.

И опять время сделало свое: постепенно утихла боль утраты, и быт, заменяющий на Корабле жизнь, опять привел все в норму. Полина родила дочь, назвав ее в честь бабушки Мартой. Материнство смягчило Полину, еще больше привязало к детям, к хозяйству, и она вскоре научилась прощать Свену то, что можно прощать мужу, близкому человеку, но не командиру.

А вслед за этим пришла любовь, совсем не похожая на ту первую юношескую влюбленность, — спокойная, глубокая, зрелая. Правда, Полина не знала, полюбил ли ее Свен, и никогда не спрашивала об этом. Она привыкла думать, что полюбил, хотя он и не забывал Марго. Впрочем, ревность к памяти соперницы давно уже не тревожила Полину.

Она была вполне счастлива; дети росли здоровыми,

добрыми, работающими; со Свеном ее связывала все крепнущая взаимная привязанность; и, размечтавшись, она уже видела у своей груди вторую дочь, потому что Кораблю нужна была девочка; и с удовольствием поглядывала на старших — на быстро мужавшего Александра и хорошенькую Люсьен, очаровательно красневшую под его настойчивым взглядом, совсем как Марго краснела когда-то под взглядом Свена. И если иногда ее смущало слишком раннее повзросление детей или слишком персвешивающая чувства рассудочность, то на другой день радовала шаловливость и непосредственность. Ей не раз приходило в голову, что уж им-то, Третьему поколению, нисколько не мешает замкнутость пространства, что они, даже не слышавшие из первых уст рассказов о Земле, воспринимают мир Корабля как единственно возможный, данный от природы.

Как, наверное, тосковали по Земле те, Первые! Но уже для нее Земля была полуреальностью, полусном. А Третье поколение — это поколение Корабля, они родились здесь и воспитывались людьми, родившимися здесь. Едва ли они представляют себе Землю как мир, для них она всего лишь планета, подобно тому как звезда, к которой они летят, — всего лишь звезда. Точка на карте вселенной, не больше.

Однажды Полина спросила Александра и Люсьен: — Вам хотелось бы на Землю?

— Н-нет, — замотала головой Люсьен. — Я не знаю, какая она, Земля. Там очень много незнакомых людей, я просто растерялась бы.

Александр, прежде чем ответить, подумал.

— Здесь, на Корабле, наша родина, нам хорошо здесь. А на Землю... разве что посмотреть одним глазком, какая она. А насовсем — нет!

Полина и пожалела их, и позавидовала.

Так они и жили эти последние годы. Все шло хорошо, не чувствовалось никаких признаков надвигающей-

ся катастрофы. Правда, иногда Свен хандрил, но это не в счет, они все хандрили время от времени, инстинктивно возмущаясь размеренным, как тиканье часов, существованием. Все шло хорошо, и вдруг — как гром среди ясного неба.

В чем же дело? Может, Свен возненавидел эти стены, превращающие просторный Корабль в тесную кроличью клетку? Или так и не сумел забыть Марго? Или приревновал к Александру, приняв за ухаживание его сыновнюю нежность и заботливость? Нет, нет, нет, все это не то, совсем не то!..

Она не могла найти оправдания поступку Свена. Найдись оправдание, ей легче было бы понять его, простить, забыть, прийти в себя и все начать сначала. Должна ведь существовать причина УХОДА, учит история, не мог же человек УЙТИ просто так, из-за каприза, из-за минутной слабости. Если бы он, как настоящий мужчина, УХОДЯ, подумал о ней, о ее терзаниях, о том, что она должна как-то объяснить его исчезновение детям, — уж он догадался бы оставить хоть записку, хоть какой-то намек, что ли. Но он УШЕЛ молча. Значит, или ему не хватило мужества, или он даже не вспомнил о ней в последние минуты. И не только о ней. Он не вспомнил о грядущих поколениях, о Цели, о долге, а это опять противоречит опыту истории; даже легкомысленная Ева УШЛА, выполнив свой последний долг, родив Марго.

Чем больше рассуждала Полина об УХОДЕ Свена, тем чаще охватывал ее гнев; так поступить мог только человек, предавший Цель Корабля, человек, которому наплевать на все усилия и страдания тех, кто был прежде, на покой и душевное равновесие тех, кто остался и кто придет после. Само право на УХОД, призванное охранять покой Корабля, Свен обратил во вред Кораблю.

Что же ей делать теперь, как вести себя с детьми?

Дети, дети... Их трудно воспитать, но проще простого свести на нет плоды кропотливой многолетней работы. Одна ошибка — и разом рухнут все моральные устои, необходимые для того, чтобы выжить самим и вырастить следующее поколение. Если она не сумеет обезвредить дух безразличия к Цели, идущий от поступка Свена, — экспедиция окажется в опасности.

Но думай не думай, терзайся не терзайся, а придется записать в анналах Корабля:

17 ОКТЯБРЯ 2160 г. — УХОД СВЕНА.

ПО СЛЕДАМ СВЕНА

И опять жизнь на Корабле потекла плавно и размеренно. Но теперь это несколько не зависело от Полины. Она механически выполняла свои обязанности, с равной заинтересованностью занималась кухней и научными исследованиями по Основной Программе, задавала корм кроликам и разучивала с детьми Шопена, наблюдала за досугом малышей и часами бесцельно следила за перемигиванием индикаторов на пульте Консультанта, но мысли ее витали далеко от всего этого.

А большое хозяйство Корабля требовало внимания, прилежности, увлеченности. Еще больше времени и сил отнимали наблюдения и опыты. Бесчисленные датчики, шкалы, анализаторы, барометры, фотометры, термометры и дозиметры ежеминутно напоминали о себе, призвали к работе. Не только на каждого человека — на каждого кролика и карпа велся специальный журнал, куда регулярно заносились десятки очень важных цифр. Даже птички, беззаботные лесные птицы считались объектами уникального медико-биологического эксперимента.

В свое время Полина особенно любила копаться в огороде, может быть, потому, что здесь теснее всего

переплетались интересы науки с хозяйственными интересами Корабля. Как будут вести себя растения в условиях длительного космического полета, при повышенной радиации, искусственном освещении, искусственном климате? Отныне такой проблемы не существовало: растения-мутанты, растения-гибриды, выведенные Полиной, приносили неслыханный для Земли урожай. Да и вообще гигантская лаборатория, именовавшаяся Кораблем, ежедневно давала ответы на тысячи злободневнейших вопросов, жаль только, что так нескоро получают ученые Земли эти бесценные материалы.

В последнее время много забот взял на себя Александр. Ему приходилось работать и за себя, и за Свена, да и за Полину. Он вел журналы, загружал хлореллой Синтезатор, чистил клетки кроликов и кур, сменил воду в бассейне карпов, часами возился на грядках, вносил удобрения и пересаживал рассаду — словом, тянул за троих, не ведая усталости. И повсюду, как тень, следовала за ним Люсьен.

Однажды Полина сидела на зеленой скамейке в тенистом уголке сада, как всегда, погруженная в свои думы. По ту сторону бассейна Александр, азартно орудуя ножницами, подстригал деревья. Наверное, он не видел ее, он был слишком занят делом. Внезапно легкие шаги заставили Полину очнуться. За кустами мелькнул желтый комбинезон Люсьен, она оглянулась — и прильнула к Александру, обвив руками его шею. Нет, это был совсем не детский поцелуй, в нем чувствовалась женская страсть. Полина, зная об их влюбленности, пожалуй, могла бы предположить и поцелуй, в конце концов Александр уже почти взрослый, да и Люсьен прекрасно развита для своих лет, но такого Полина не ожидала.

Она осторожно покинула сад — они ничего не услышали, а через минуту окликнула из коридора:

— Люсьен! Люсьен, где ты?

И когда Люсьен появилась из-за кустов, сказала строго, но спокойно:

— Девочка, ты увлекаешься! — Она сделала паузу, и опущенные ресницы Люсьен дрогнули. — Нельзя оставлять детей за уроками одних.

Больше Полина ничего не рискнула ей сказать. Сама виновата, что они почувствовали себя чересчур вольно. И вообще, может быть, лучше поговорить с Александром, он парень разумный и достаточно выдержанный.

Вечером к ней подошел Джон, положил на стол карточку с задачей по математике. Вихрастый, бойкий, всегда жизнерадостный, на этот раз он выглядел смущенным.

— Тетя Полина, я решил задачу правильно, только совсем другим способом, я сам придумал другой способ, а Педагог...

В глазах мальчишки стояли слезы: машина-Педагог пробила отверстие в графе «двойка». Полина проверила решение Джона. Оно было остроумнее общепринятого, но давало другой ответ. Задачи могут иметь несколько ответов, это ясно, но ведь и Педагог знает свое дело.

— А почему ты не решал обычным путем, Джон?

— Зачем? Я и без того умею обычным. Я нашел новый. Дядя Свен сказал: настоящий математик, как и настоящий мыслитель, всегда ищет неожиданное решение. Если бы дядя Свен не болел...

Они объяснили малышам, что Свен болен и навещать его нельзя. Когда пройдет какое-то время и образ Свена померкнет в их памяти, придется сказать, что он умер и его уже давно схоронили. Не очень-то педагогично, но другого выхода Полина просто не нашла.

— В этом случае мы можем обойтись и без Свена, — она ласково потрепала Джона по вихрам. — Пусть ваш спор разрешит Консультант, личность достаточно авторитетная и для тебя, и для Педагога.

Джон ухмыльнулся. Его забавляло, когда машины — Консультант, Педагог, Синтезатор — именовались личностью, товарищем или другом. Полина вспомнила, как ее отец Алекс всегда, бывало, подходил к Консультанту со словами: «Скажи-ка, дружище, как ты думаешь...»

И, вставляя карточку в приемный блок Консультанта, она тоже спросила:

— Скажи-ка, дружище, как ты думаешь, прав был Педагог, когда поставил двойку нашему Джону?

— Не прав, — немедленно ответил Консультант. — Задача имеет два решения. Но Джон тоже не прав. Он должен был представить Педагогу оба решения.

— Ну вот видишь, мы и разобрались сами, без Свена!

Она еще не закончила фразу, а уже связывала, пыталась связать эти математические упражнения с УХОДОМ Свена. Математикой с детьми обычно занимался Свен, он и натолкнул любознательного Джона на путь поиска самостоятельных решений. Вообще поиск новых, зачастую парадоксальных решений был слабостью Свена, он ко всему старался отыскать свой особый подход. Вот и бесконечные шахматные этюды, над которыми он убивал время, и головоломки, восхищавшие ребятшек... Но нет, разгадка не в этом, где-то рядом. Свен и Джон...

Свен и Джон...

Ах да! Как она могла забыть! Видно, так уж устроена человеческая память: если нечто неприятное кончается плохо — его помнят, а если хорошо... Около месяца назад Джон заболел, у него началась та же болезнь, от которой умер его дед, теперь уж они знали ее симптомы. Несколько дней Джон пролежал в апатии, внешне он выглядел совершенно здоровым, но не хотел ни шевелиться, ни разговаривать, ни есть. Все они всполошились, надо было срочно предпринимать что-то, тем более с ребенком это случилось впервые, может, ре-

бенка удалось бы спасти. Снова взялась Полина за те же бесконечные анализы, и Свен просиживал с нею ночи напролет, пока не опускались руки. Нет, они ничего не нашли, все было, как и прежде, в пределах предусмотренных норм.

И тогда между Александром, который не отходил от брата, и Свеном, тоже уставшим, издерганным от бессонных ночей над приборами, произошла стычка. Ну, не стычка — так, спор. Александр предложил еще раз запросить Консультанта, а Свен разгорячился, накричал на него: Консультант не бог и даже не человек, это всего-навсего под завязку напичканная фактами машина, и если раньше он ничего не мог посоветовать, а его спрашивали уже несколько раз, то смешно думать, что теперь он скажет что-то вразумительное. Но Александр стоял на своем, в конце концов ничего ведь не случится, если они спросят еще раз, а вдруг... Полина понимала его: Джон был братом Александра, младшим братом, почти сыном. И она поддержала Александра, хотя считала, что прав Свен.

— Цирконий, — ответил Консультант так быстро, будто знал это всегда. — Организм нуждается в цирконии, около миллиграмма на человека. Роль циркония в жизнедеятельности еще не установлена учеными. На Земле вода и пища содержат растворимые соединения циркония, на Корабле вода и пища лишены их. Назначая лечение...

— Почему же, черт побери, ты не сказал этого раньше?! — взорвался Свен.

Конечно, не следовало таким тоном разговаривать с Консультантом, в его схеме было смонтировано нечто вроде примитивного самолюбия, и Консультант, естественно, обиделся.

— Я не бог и даже не человек, я всего-навсего самообучающаяся аналитическая машина, под завязку напичканная фактами, — ответил Консультант со всем

доступным ему сарказмом. Это прозвучало уморительно, но никто не рассмеялся из-за серьезности положения. — Когда мне представляют достаточно данных, я делаю выводы. Вам следовало бы знать это, Свен.

Свен ушел, хлопнув дверью, и заперся у себя в каюте.

— Да, странно, — вдруг ни с того ни с сего заметил Александр, когда после нескольких дней лечения Джон начал поправляться. — Странно, что Консультант сообщил свои выводы только теперь. Последние факты он получил после смерти тети Марго, на анализ ему достаточно нескольких секунд. Разве он не обязан сообщать важные сведения без нашего запроса?

— Обязан, если это действительно важные сведения. Но тогда никто не болел, и он, вероятно, считал, что пока эти сведения никому не нужны.

— Но ведь он должен был предвидеть, что в будущем опять кто-то заболеет, а его могут не спросить...

Полина улыбнулась:

— Ты не учиываешь, что Консультант всего лишь машина. Он прогнозирует будущее, но не умеет заботиться о нем.

— И все-таки здесь что-то явно не так, — не согласился Александр.

А вскоре об этом случае все забыли, потому что Джон поправился и они знали, что «циркониевая болезнь» никогда не повторится.

Все забыли...

Нет, пожалуй, не все забыли. Теперь она вспоминает: не все.

Свен прохандрил несколько дней, а потом у него, как обычно, начался период бурной деятельности. Поздно вечером, когда библиотека пустовала, он подолгу беседовал с Консультантом, причем почему-то не только устно, но и письменно. Полина не обратила на это

внимания, она была рада, что Свен так быстро сумел выйти из хандры.

— О чем ты с ним? — спросила она мимоходом.

— Да ни о чем. О чем можно разговаривать с этим тупым эрудитом? Просто проверяю систему выхода. Мне показалось, там что-то не в порядке, он должен был давным-давно сообщить о цирконии.

— Ну и как, нашел неисправность?

— В том-то и загвоздка, что никакой неисправности нет.

— Уж не думаешь ли ты, что он нарочно скрывает от нас что-то? Или хитрит, как хитрят все машины в фантастических романах?

— Куда ему! — небрежно махнул рукой Свен.

Тогда она не обратила на это внимания. Но теперь простая последовательность событий заставила ее вспомнить все подробности, предшествовавшие УХОДУ Свена. После сообщения о цирконии Свен хандрил несколько дней. Потом около недели был бодр и деятелен, но вся его деятельность так или иначе связывалась с Консультантом. Потом опять захандрил — и уже до самого конца. Неужели Консультант сообщил ему что-нибудь из ряда вон выходящее? Едва ли, Свен всегда относился к нему свысока, да и не такому интеллекту, как Консультант, тягаться со Свеном. Тогда в чем же дело? В чем причина УХОДА Свена?

Болезнь Джона — сообщение Консультанта — хандра — беседа с Консультантом — убеждение, что он исправен, — снова хандра... и УХОД. Нет, тут явно не хватает какого-то промежуточного звена. Но какого?.. Какого?!

За обедом маленькая Марта сказала:

— Мамочка, можно, я отнесу папе покушать? Я очень соскучилась без папы.

Джон и Серж всюду уплетали куриный суп с лап-

шой, слова Марты пролетели мимо их ушей. Зато Александр и Люсьен застыли с ложками у рта.

— Ты забыла, дочка: когда я ем, я глух и нем, — строго оборвала ее Полина. — К нему нельзя заходить, он болен, и ты можешь заразиться. Я отнесу сама.

— А ты не заразишься, мамочка?

— Я — нет. Большим можно, а маленьким нельзя.

— А когда я вырасту большая, тыпустишь меня к папочке?

— Посмотрим, как будешь вести себя за столом. Кто много болтает, тот вообще никогда не вырастет большой.

После каждого завтрака, обеда и ужина Полина относила поднос с едой в пустую каюту Свена, а ночью Александр все уносил обратно и выбрасывал в Синтезатор. Это было нелепо, но что поделаешь? Дверь она запирала на ключ. Ей еще предстояло тщательно обследовать все в этой пустой и почему-то пугающей каюте, но она никак не могла заставить себя, и пока все лежало в том беспорядке, как осталось наутро после УХОДА Свена; Александру она строго-настрого наказала ни к чему не притрагиваться.

Наконец Полина решилась. Глубокой ночью она проскользнула в каюту, дважды повернула ключ, подергала дверь и принудила себя сесть в кресло. Клетчатая доска с расставленными шахматными фигурками, трубка, полная пепла, табак в коробке, свет настольной лампы под зеленым абажуром. В воздухе еще сохранился табачный запах. На крючке висел комбинезон Свена — он УШЕЛ в тренировочном костюме. Полина нажала кнопку электрокниги. Что он читал накануне УХОДА? Она пустила микропленку назад: А. Конан-Дойль. «Приключения Шерлока Холмса». Странно! Почти машинально перебрала остальные кассеты с микрокнигами: «Учебник криминалистики», «Ведение следствия», «Логика в алогических процессах», «Шахматные парадоксы», «Ло-

гические парадоксы», «Космическое право», «Электротехника». Боже, какой пестрый набор! И это он читал в последние дни, может быть, в последние минуты жизни! Что и говорить, Свен всегда оставался для нее книгой за семью печатями, только она избегала думать об этом.

Что еще? Рабочие башмаки в углу. Короткая изолированная проволочка на столе. Отвертка. Зачем ему понадобилась отвертка? Он никогда не увлекался техникой. Что-то, значит, подвинчивал. Или отвинчивал?

Полина поднялась, чтобы осмотреть все приборы с винтами и шурупами, нажала кнопку выключателя верхнего света — плафон не загорелся. Совсем странно! Она взяла отвертку — на пол упало что-то. Винтик. Небольшой винтик. Свен, вероятно, ремонтировал плафон.

Она пододвинула кресло на середину каюты. Точно, в абажуре не хватало одного винта. Черт побери, зачем понадобилось Свену посреди ночи идти за отверткой и ремонтировать плафон?! Неужели не мог дождаться утра — ведь настольная-то лампа горела! И плафон был в порядке, она еще заходила сюда накануне вечером и точно помнит, что плафон был в порядке. Непонятно!

Полина отвернула остальные винты, сняла плафон, и стоило ей подтянуть контакт, трубка мигнула и загорелась. Она вынула трубку, отвинтила все, что можно было отвинтить, и тогда зеркальный рефлектор, вделанный в потолок каюты, вдруг упал на кресло к ее ногам. Она осмотрела рефлектор — он был насильно выломан из гнезда, по краям его неровно бугрился белый окаменевший клей. И что интересно, зеркальный рефлектор оказался прозрачным, совершенно прозрачным. А в потолке, среди тусклого металла перекрытия блеснуло что-то..., какое-то круглое застекленное отверстие диа-

метром с полтинник. Вокруг него виднелись беспомощные царапины от отвертки.

Полина опустила в кресло и закрыла лицо ладонями. Ей стало страшно. Все это проделал и Свен в последнюю ночь. Но как это бессмысленно, нелепо, неразумно! И плафон. И беседы с Консультантом. И этот необъяснимый набор книг. И периодическая хандра. Нет, честное слово, можно свихнуться, если повторять все его действия! Так что же ты представлял из себя, Свен?

И вдруг она явственно услышала его голос:

— Я не бог и даже не Консультант, я всего-навсего человек, Полина!

Она вскрикнула. Ей показалось, он стоит в углу — она отчетливо видела его сквозь пальцы.

— Свен! — простонала она. — Свен!

Он ничего не ответил. Полина собрала все свое мужество, резко встала и оторвала руки от лица. Свена не было. В углу висел его комбинезон.

— Я просто схожу с ума, — сказала она себе. — Он тоже сходил с ума, потому и УШЕЛ. Только сумасшедший может развинчивать плафоны.

КОНСУЛЬТАЦИИ С КОНСУЛЬТАНТОМ

С нею происходило нечто в высшей степени странное. Она пыталась убедить себя, что УХОД Свена вызван каким-то умственным расстройством, временным помутнением рассудка, и как будто факты подтверждали это, так что, внушала она себе, пора бы успокоиться и поставить точку. Но, с другой стороны, поведение сумасшедшего лишено всякой логики, а в действиях Свена, безусловно, была своя логика, пусть непонятная, завуалированная, но явно была. И теперь Полину волновал не столько даже УХОД Свена сам по себе, сколько беспричинность, бессмысленность его УХОДА. Стре-

мясь во что бы то ни стало обнаружить эту ускользающую от нее причину, она превратилась в сыщика-любителя, а беда, сама беда превратилась в неотвязную занимательнейшую шараду. Полина вполне сознавала, как все это дико и смешно, однако остановить себя уже не могла.

— Тебе ведь известно назначение каждого винтика на Корабле? — спросила она Консультанта.

— Разумеется.

— Под отражателем плафона в каюте Свена, да и в других тоже, есть какие-то застекленные отверстия. Что это?

— Это лампы аварийного освещения, Полина.

— Неправда! Они так же похожи на лампы, как я на господ бога.

Консультант обиделся:

— Ты же знаешь, Полина, я не человек, я машина, а машины не могут говорить неправду.

— Хорошо, тогда растолкуй мне, как убедиться, что это лампы. Как включается аварийное освещение?

— Только автоматически. Блок включения замонтирован в системе управления Кораблем. Чтобы включить аварийное освещение, необходимо повредить Корабль.

— Спасибо за совет. Скажи, пожалуйста, а Свен спрашивал у тебя, что это такое?

— Да.

— И что ты ответил?

— То же, что и тебе.

— А как реагировал на это Свен?

— Он рассмеялся и сказал: «Наивные люди!»

— «Наивные люди»? Кто — наивные люди?

— Об этом тебе надо было спросить Свена.

Разговор с Консультантом несколько не успокоил ее: она не верила машине, понимала, что глупо не верить машине, и все же не верила. Теперь она вообще

не внимала голосу рассудка. И о ком это сказал Свен: «наивные люди»? О тех, кто вот уже сорок восемь лет жил на Корабле? Или о тех, кто посылал Корабль к звездам и программировал Консультанта? А может, о человечестве, которое создало эти умные машины и доверилось им? Она не получила никаких новых данных, чтобы подозревать Консультанта в неискренности, и все-таки не сомневалась, почти не сомневалась, что на пути к отгадке стоит Консультант. Не случайно ведь накануне УХОДА Свен разговаривал с ним, причем почему-то письменно, и проверял систему выхода, и вообще отношения между ними выглядели напряженными.

«Отношения между ними — надо же додуматься до такой нелепицы! Отношения между человеком и машиной. Да какие у них могут быть отношения?! Тогда уж будь последовательной, Полина, считай Консультанта членом экипажа, корми его, развлекай — и постарайся влюбить в себя, да, да, непременно и поскорее. Но это все шутки. А если всерьез... Как бы узнать ход рассуждений Свена, как бы наткнуться на цепочку его доводов, на цепочку, приведшую к двери реактора?»

Она попробовала поставить себя на место Свена, проникнуться тем состоянием, в котором находился он последнее время. Перечитывала найденные в его каюте книги, стараясь в них отыскать ответ на мучившие ее вопросы, пыталась решать его любимые шахматные этюды, рискнула даже закурить трубку — ничто не помогло. Свен УШЕЛ, потому что не захотел лететь к звездам. Но почему он не захотел лететь к звездам? Почему именно в эти дни, в этих обстоятельствах решил отказаться от полета?

Если бы она умела рассуждать, как Свен! Но у него была своеобразная манера мышления, он привык иметь дело с парадоксами и чувствовал себя в мире загадок как рыба в воде. Наверное, он и с Консультантом разговаривал совсем не так, как она, иначе едва ли Кон-

сультант сказал бы что-нибудь существенное. А кстати, проще простого узнать, о чем у них шла речь.

— Послушай, дружище, мне нужна запись твоей беседы со Свенем в тот вечер, когда он решил проверить систему выхода.

— Пожалуйста, Полина. Одну секунду. — Индикаторы его мигали невинно и доброжелательно, как глаза старой преданной собаки. Казалось, он вот-вот лизнет руку от избытка преданности. — Зачем тебе эта запись, Полина?

— Хочу понять, что произошло со Свенем.

— Слушай.

Щелкнуло реле включения оперативной памяти, раздался знакомый иронический голос:

— Как самочувствие, Кладезь Мудрости?

— Все системы функционируют нормально. А ваше настроение, Свен?

— Почему ты упорно называешь меня на «вы»?

— Все-таки вы командир, Свен.

— «Все-таки»! У тебя появляются иезуитские наклонности. И вообще ты мне не нравишься последнее время. Финтишь, брат!

— Финтишь? Что значит: финтишь?

— Хитришь.

— Я не умею хитрить, Свен. Это не предусмотрено программой.

— А как же в шахматах? Ведь ты ставишь ловушки?

— Это не хитрость. Это логически обоснованная тактика.

— Так-так-так... Значит, тактика... Давай-ка лучше проверим вместе с тобой блок Д-018.

— Но он абсолютно исправен. Вы же знаете, Свен, я немедленно сигнализирую о всех неполадках.

— Знаю. И все-таки хочу посмотреть. Может, с твоей точки зрения он исправен, а с моей... Дело в том, что мне не понравился один твой поступок. И если ты счи-

таешь его тоже логически обоснованным, то у нас разная логика. А это весьма тревожно...

«Что же это за поступок, с которого, кажется, все и началось? За него уцепился Свен, за него же надо уцепиться мне, чтобы распутать клубок. Ну что, что, что такого особенного произошло? — пытала себя Полина. — Неужели... цирконий? Кстати, Александр тоже заподозрил тогда неладное, только одна я пропустила все мимо ушей. Итак, в случае с цирконием Свен нашел нечто нелогичное...»

И тут ее ожгла страшная мысль: а если Консультант знал о цирконии всегда, с самого начала? И скрывал от них? А сказал только теперь, когда испугался, что вообще никого не останется на Корабле?! Да нет, это бессмысленно, должна же ведь и у него быть своя логика. «У нас разная логика», — заметил Свен. Что он имел в виду?

Она выдвигала десятки причин, следуя которым Консультант мог бы пойти на обман, и тотчас их отвергала. Допустим, он возомнил себя личностью, допустим, хотя уже это сомнительно само по себе, но зачем ему понадобилось избавляться от людей? Чтобы захватить власть на Корабле? Доказать свое превосходство над человеком? Абсурд, чистейший абсурд, ведь он только Консультант, информационная машина, он никак не связан с управлением.

Но совершенно ясно: так она ничего не добьется. Свену хватило ума, или знаний, или хитрости, чтобы выпытать у Консультанта нечто большее. Значит, она должна найти свой подход к Консультанту. Есть же что-то такое, в чем она безусловно сильнее машины. Человек всегда в чем-то сильнее. Но в чем?

«До сих пор мы беседовали с ним на равных, как две машины: прямо, без лукавства, без задней мысли. Во всяком случае, это относится ко мне. Я ведь, по существу, не столь уж разительно отличаюсь от него, —

думала Полина. — Я тоже запрограммирована с детства и не вольна принимать никаких принципиально важных решений, не вольна изменять себя. Но если все же попробовать?»

Этот разговор состоялся ночью, когда дети спали.

— Послушай-ка, дружище, — начала она взволнованно, с дрожью в голосе, и получилось естественно, потому что она в самом деле волновалась. — Мне нужно посоветоваться с тобою.

— Пожалуйста, Полина.

— Нет, ты не понял. Я хочу посоветоваться с тобою не как с машиной, а как с человеком...

— Но ведь я всего-навсего самообучающаяся аналитическая машина, — сразу перескочил он на свой обычный придурковатый тон, однако это не смутило Полину.

— Войди в мое положение. Я осталась одна, совсем одна, а я всего лишь женщина, у меня нет ни воли Джона, ни энергии Алекса, ни ума Свена. Понимаешь, дурной пример заразителен, и я боюсь, все пойдет прахом, если мы хоть как-то не объясним детям малодушный поступок Свена. Посоветуй, что я должна сказать им. На тебя все надежды.

И она очень натурально всплакнула. Консультант ответил не сразу, деликатно выждал, пока она успокоится.

— Какого типа совет нужен тебе, Полина? Ты хотела бы оправдать Свена перед детьми или, наоборот, скомпрометировать?

— А можно скомпрометировать?

— Можно. За Свеном числилось немало грехов, ты знаешь. И я всегда относился к нему не так, как к другим...

— Ты не любил его?

— Пожалуй. Если только это понятие применимо к машине.

— Если говорить совсем откровенно, я еще в дет-

стве не верила, что ты машина. Когда ты играл с нами, и рассказывал сказки, и пел нам про старого капитала, я думала, там, внутри, сидит кто-то, кто-то добрый и чудаковатый. Ты для меня и теперь почти такой же человек, как все остальные. Ведь ты не просто машина, ты способен к самообучению, к самосовершенствованию, разве не могли у тебя за это время возникнуть черты личности?

Консультант быстро-быстро поморгал индикаторами:

— Я ценю твое доброе отношение ко мне, Полина. Я давно заметил его. Ты права, действительно, у меня сложились кое-какие черты личности. Но не больше. Все-таки я не человек. И тем не менее я попробую дать тебе совет. Начнем с того, что Свен всегда был настроен скептически...

— Он не верил в Цель?

— Верил. Но сомневался.

— Сомневался — в чем?

— В праве Первых решать за последующие поколения. Он считал это аморальным. А Алекс ответил ему... Впрочем, сохранилась запись разговора.

— Запись? Разве ты хранишь записи такой давности?

— Вообще — нет. Я обязан переводить их в долговременную память. Но тогда стирается голос. Поэтому некоторые особенно дорогие для меня разговоры я сберег. Считай это моим хобби. Работы не так уж много, и, чтобы не скучать, я время от времени перебираю эти записи.

— Любопытно. Где же они у тебя хранятся?

— Я освободил один из блоков для моей маленькой коллекции. Не беспокойся, это нисколько не мешает делу. Особенно интересны записи Алекса, я любил его, как и ты. Хочешь послушать на досуге?

— С удовольствием. Но пока...

— Да, пожалуйста. Вот разговор Алекса со Свеном. Свен. Какое право имели вы решать за других? За меня, например? Может, я вовсе не желаю участвовать в этом головокружительном эксперименте?

Алекс. Ты на самом деле не желаешь?

Свен. Я этого не сказал. Но в принципе, в принципе?!

Алекс. А в принципе это выглядит так. Еще перед стартом нашлись противники полета Корабля. Они предлагали не спешить, осваивать вселенную постепенно, методом ступенчатой экспансии. Но их тезису антигуманности такого полета мы противопоставили право каждого на добровольный сознательный риск, право человека на подвиг. Человечество не может ждать стопроцентных гарантий успеха, оно молодо, дерзко, нетерпеливо — и оно всегда будет рваться вперед, невзирая на опасности. В этом и достоинство его и недостаток. Но таково уж оно есть, человечество Земли!

Свен. Насколько я понимаю, цель экспедиции — приобретение знаний. Разве хорошо оснащенный автомат не мог бы принести те же знания — или пусть даже несколько меньшие, зато без этого риска, без этого напряжения, без этих страданий?

Алекс. Вероятно, со временем смог бы. Однако учти, человек так уж устроен, что познание для него — не только средство, но и цель, не только необходимость, но и насущнейшая потребность. Пусть у человека будет все, что душа желает, — он все равно с риском для жизни пустится за знаниями на край света, как Одиссей. Так что, не решишь мы отправиться к звездам, через два десятилетия Первыми стали бы вы, ваше поколение. Но человечество потеряло бы двадцать лет, Свен...

Алекс умолк. После короткой паузы вновь заговорил Консультант:

— Вот еще одна запись, Полина, тоже очень характерная для мировоззрения Свена.

Она приготовилась снова погрузиться в прошлое, но тут раздался скрипучий, хриплый, явно искусственный голос!

— Если ты считаешь, что все люди глупы, то, согласишься, глупо и все то, что сделано их руками, следовательно, глуп ты сам...

Грубый машинный голос внезапно оборвался. Изумленная Полина глянула на панель Консультанта: ни один глазок не светился. Консультант точно остолбенел.

— Кто это? Чей это голос?!

Консультант, всегда отвечающий мгновенно, мучительно молчал,

— Признавайся же, ну!

— Это... Навигатор.

— Не лги! Навигатор не имеет голоса!

— Я... уступил ему..., один из своих блоков..., Нам скучно... по ночам..., мы просто болтаем... Не беспокойся... это без ущерба для дела... Он не личность... Он просто разум.

— Но ты не связан с ним,

— Я... использовал... электрокабель.

Вконец расстроенная, Полина ушла к себе. Еще не лучше! Надеясь, что Консультант поможет ей разрешить вопрос, а вместо этого к одной несуразице прибавилась другая. Хитрость удалась, Консультант выказал себя, и все-таки она не продвинулась ни на шаг вперед. Этому жалкому слабоумному старикашке, коллекционеру цитат и болтуну, удалось что-то скрыть от нее. Он представлялся ей теперь маленьким бородатым гномом, трясущимся над своими сокровищами — разноцветными морскими камешками. Правда, среди этих камешков затерялась жемчужина...

Что же, что же произошло со Свеном?!

Наутро Полина сменила схему энергопитания Навигатора: нечего болтать и упражняться в остроумии, да и вообще так будет надежнее,

Прошло несколько дней. Однажды она проснулась на рассвете — почудился отдаленный зов: «Полина, Полина!» Ничего не поняв спросонья, она побежала на голос, она бросилась к нему, к Свену. Он сидел возле Консультанта в рабочем комбинезоне, волосы упали на лоб. Усталый, расстроенный... Она подошла поближе и только хотела коснуться его плеча — он расплылся, нырнул в приемное устройство Консультанта и уже там, внутри, расхохотался:

— Ха-ха! Наивные люди! Ха-ха-ха!

Она дико, по-звериному, закричала.

— В чем дело, Полина? — невозмутимо спросил Консультант.

ГРАНЬ

С этой ночи душевный покой оставил Полину и не возвращался больше ни на минуту. Внешний мир перестал существовать для нее, все представлявшее хоть малейший интерес сосредоточилось внутри. Загадка, которую задал Свен, стала ее навязчивой идеей.

Полина понимала, что пора взять себя в руки, что нельзя распускаться, что психоз совсем выведет ее из строя, а она единственный взрослый человек на Корабле, но ничего не могла поделать. Она призывала на помощь все свое мужество — его не осталось. Она искала спасения в мысленных беседах с отцом, всегда заряжавших ее энергией, Алекс являлся — и она не находила иной темы для разговора с ним, кроме УХОДА Свена.

Она оказалась обыкновенной слабой женщиной, вовсе не подготовленной к гигантским психологическим перегрузкам Корабля. Вот Алекс был человеком, способным потягаться с космосом, и Джон, первый командир, был таким человеком, и тетя Этель, железная тетя

Этель, которую не согнули никакие беды, никакие перегрузки. А она... Но не все же люди рождаются железными.

Теперь Полина не только разумом — сердцем поняла, как гуманна дверь, ведущая в реактор. Для человека в ее положении УХОД представлялся единственным избавлением. Но Полина гнала прочь эту недостойную мысль: УЙТИ слишком просто, слишком легко, а что будет с теми, кто останется? Что будет с детьми? Смогут ли они продолжить полет к звездам?

Она старалась как можно меньше бывать среди детей, каждую минуту она могла сорваться и наделать глупостей, непоправимых глупостей. Но и одиночество страшило ее, стоило запереться в каюте — мерещился Свен. Порой даже казалось, что он не УШЕЛ, а скрывается где-то на Корабле, бродит неприкаянной тенью, а ночью прокрадывается в ее каюту и призраком стоит у двери.

Так прошло около месяца. Полина чувствовала, что из наставника, из руководителя превращается в обузу экспедиции, попросту мешает. Как смотрят на нее теперь Александр и Люсьен, теперь, когда она, по сути, отступилась от всего, чему учила, что воспитывала в них? От мужества, от выдержки, от борьбы, от стремления все силы отдать достижению Цели? Наверное, им было бы легче без нее. Но ведь они еще совсем дети!

Но нет, они уже не были детьми. Вскоре она убедилась, что обстоятельства сделали их вполне взрослыми.

Ночью к ней зашла Люсьен. Она по глазам видела, что Люсьен только что разговаривала с Александром. Так, значит, они встречаются и по ночам...

— Как настроение, тетя Полина? Хандра еще не прошла?

— Не прошла, девочка. Я гоню ее в дверь, а она влезает в окно. Но ты не волнуйся, это пройдет. Все будет в порядке.

— Конечно, все будет в порядке! — с готовностью подхватила Люсьен, и Полина почувствовала, что вовсе они не верят в ее выздоровление. Люсьен мялась, что-то хотела сказать, да не решалась. Ну, ну, что они там придумали, о чем сговаривались между поцелуями?

— Тетя Полина, — начала наконец девушка, — мы с Александром много говорили о вас и пришли к выводу... Чтобы помочь вам избавиться от этого состояния... — она опустила ресницы, — вам нужно выйти замуж.

Неожиданно для себя Полина рассмеялась — настолько нелепым было сказанное Люсьен.

— Замуж? Прекрасная мысль, только за кого можно здесь выйти замуж, девочка? За кого ты меня сватаешь? Уж не за Консультанта ли?

— Вы должны стать женой Александра, — побелевшими губами прошептала Люсьен. Глаза ее распахнулись, вспыхнули, словно все еще играл в них отблеск адского пламени реактора. — На Корабле не осталось ни одного взрослого, кроме вас, и если мы вас не сэкономим, нет никакой гарантии... Подумайте, тетя Полина! Мне на всю жизнь запомнились ваши слова: мы живем здесь не для себя, мы живем только ради Цели. Александр почти взрослый, скоро ему исполнится восемнадцать. И уверяю вас, он уже совсем-совсем настоящий мужчина...

Тут она осеклась и залилась краской. Полина нежно обняла это наивное, доверчивое существо.

— А как же ты, девочка?

Оказывается, они уже все рассчитали:

— Я выйду за Джона, тогда и у Сержа будет жена — Марта. Видите, как здорово все получается.

— Я не об этом. Ведь ты любишь Александра?

— Да, но...

— И он тебя любит? — Люсьен молча потупилась. — Зачем же такие жертвы, девочка? Ради Цели?

Но полет только начинается, Цель далека. Мы должны просто жить, хорошо и по возможности счастливо жить, чтобы дать жизнь другим, вот чего требует Цель. Так зачем это, девочка?

— Мы должны спасти вас, тетя Полина! — И слезы покатались по щекам Люсьен.

— Не от чего меня спасти, тем более таким путем. Болезнь моя действительно неприятная и, видимо, серьезная, но я надеюсь выкарабкаться. А если нет... если со мной случится что-нибудь, — что ж... все мы смертны. Бессмертных нет. Но жизнь продолжается. И со временем другая Полина появится на Корабле, может быть, твоя с Александром дочь. Вы уже не дети. Вы взрослые люди. И Александр хоть сегодня может стать командиром. Во всяком случае, не хуже, чем был Свен. Я думаю, вы и без меня управились бы с Кораблем. Единственное, что меня смущает: кто примет у тебя роды? Консультант все знает, но у него нет рук. У Александра есть руки, но он тебя любит, а влюбленные не годятся в повитухи. Однако и это не проблема. Все будет хорошо, девочка. Иди. Иди к своему Александру, успокой его. Только не торопите время, прошу вас, не торопите время, ваш час еще не настал...

— Да, я знаю, — сказала Люсьен, прямо глянув в глаза Полине. — Мы оба знаем. Спокойной ночи!

«И она уже совсем взрослая», — подумала Полина.

Несколько дней ей было как будто бы лучше, приободрил ночной разговор с Люсьен, а может, просто перестала мучить совесть, укорять невыполненным долгом. Теперь Полина верила, что на худой конец они обойдутся и без нее.

Потом все началось сначала. Явился Свен, показывал на нее пальцем и смеялся. «Наивные люди! Вы все — наивные люди!» Она хотела схватить его за руку, чтобы выпытать наконец, кто же наивные люди, но

Свен бросился бежать. Она помчалась за ним... по коридору... через сад... через кухню...

Ее остановил Александр.

— Тетя Полина! Что с вами, куда вы?

Она онемела, она сразу забыла, что гналась за Свеном.

— Да, куда же я бегу? Хотела сделать что-то важное... Не помню...

На Александра страшно было смотреть — перепугался парень. Так она их всех сведет с ума.

— Ах да! Я решила размяться.

Кое-как добралась до своей каюты, подошла к зеркалу. По ту сторону стекла стояла старуха с растрепанными полуседыми космами, с безумными, без единого проблеска мысли глазами.

Полина так и не поняла, что это за женщина.

А назавтра совсем сорвалась. Безучастная, равнодушная ко всему, сидела за обеденным столом, механически жевала и глотала что-то. Маленькая Марта, испуганная поведением матери, должно быть, вовсе потеряла аппетит.

— Марта, не кроши хлеб на пол, — строго заметила Люсьен, ставшая хозяйкой за столом. Но Марта не послушалась. — Я кому сказала! — прикрикнула Люсьен.

И тут Марта заплакала. Она рыдала, все ее крошечное тельце сотрясалось от рыданий, вздрагивающие кулачки размазывали слезы по лицу. Жалость к дочери неожиданно резанула Полину.

— Как ты разговариваешь с ребенком, дрянная девчонка! Что ты из себя возмнила!

Она подняла руку — перед нею была не Люсьен, перед нею была Марго, смазливая самовлюбленная Марго, отобравшая у нее Свена. Разом вскипела в Полине былая ревность, вспомнилась забитая любовь и слезы,

пролитые на зеленой скамейке. Сейчас она оплатит ей за все, за все, за все...

И она изо всей силы ударила Люсьен по щеке.

Пять пар недвижных глаз остановились на Полине.

Полина ушла к себе, заперлась на ключ. Только мгновение мучил ее стыд, потом она подумала, впадая не то в сон, не то в беспамятство: а ведь я могла бы и убить ее.

Бедная, бедная доченька! Марта моя, крошка! Сирота...

Ночью Полина встала и на цыпочках прокралась мимо сада, мимо кухни, мимо фермы, прошла склады и машинное отделение. Вот и заветная дверь. Полина глянула за стекло. Адский пламень бушевал по-прежнему, но теперь он не пугал ее. Там ждал покой. Покой для себя и для других.

Ее палец уже стоял в гнезде диска, когда она вспомнила, что даже не оставила записки. Совсем как Свен. Ну да они поймут. С Корабля можно уйти только в эту дверь. Другого выхода нет.

И еще она успела подумать, когда дверь в реактор уже приоткрылась, что поступила правильно. Все мы живем здесь не ради себя. УИДЯ, она поможет другим достичь звезд. Иного смысла не было в ее жизни, такой длинной...

И такой короткой.

Толстая стальная дверь навсегда захлопнулась за нею.

ФИНИШ

На секунду она застыла у двери, недоумевая: где же адское пламя, пугавшее ее через стекло? Помещение, в которое она попала, даже отдаленно не напоминало реактор. Это был коридор, обыкновенный коридор, ког-

да-то давно выбеленный известкой, и штукатурка на стенах кое-где потрескалась. Но только коридор не наклонный, а прямой. И вел он... в сторону от Корабля.

Она приготовилась к мгновенной смерти, а вместо этого перед нею тянулся коридор — бесконечная цепочка редких матовых ламп, конец которой терялся в полумраке. И она пошла этим коридором, еще ничего не сознавая: почему, откуда он здесь взялся?

Всюду трезвонили звонки, наверное, с десятков разноголосых звонков. Похоже, они вызвали тревогу.

И вдруг из бокового прохода выскочил человек в белом халате и бросился к ней. Тревожный взгляд. Белая шапочка. Доктор.

— Пожалуйста, не пугайтесь, Полина, — проговорил он взволнованно. — Пойдемте сюда, сейчас вы все поймете. — И он бережно, как тяжелобольную, готовую упасть, поддержал ее под руку.

Навстречу спешили другие люди, мужчины и женщины в белых халатах.

«Я сошла с ума, — очень здраво подумала Полина. — А это все бред. Но где же реактор?»

* * *

Прошло сколько-то времени — она отчетливо представляла себе это, — прежде чем сознание вновь вернулось к ней.

В соседней комнате чей-то резкий голос обличал кого-то:

— Жестоко? Вы говорите: жестоко было оставить их на произвол судьбы? Вы говорите: они не виноваты в просчете с цирконием? А нарушить чистоту многолетнего и дорогостоящего медико-биологического эксперимента из жалости, из сопливого сострадания — это, по-вашему, гуманно? Вот к чему привела ваша «гуманность»!

— Позвольте, позвольте, а телекамеры? Ведь это не наша, как вы изволили выразиться, «гуманность», это было задумано с самого начала...

«О чем они? — подумала Полина. — И надо же людям спорить из-за пустяков, когда такой покой вокруг, такое блаженство! И так хочется спать...»

* * *

Свен был совсем седой, постаревший на десять лет, но бодрый, добродушный, чуточку ироничный.

Они сидели в круглом зале возле пульта дежурного оператора. На шести маленьких экранчиках перед оператором проплывала далекая жизнь Корабля. Большой экран посреди зала дублировал любой из маленьких. Сейчас на нем трудно задумался о чем-то Александр.

Свен положил руку ей на плечо.

— И ты не поняла сразу, что значат эти объективы? Эх, Полина, Полина, наивный ты человек! Как только они ввели в машину дополнительную информацию о цирконии, я тут же сообразил, что за штучка наш Корабль. А если так — нерасчетливо было бы не наблюдать за экспериментом. И тогда я нашел передающие телекамеры. Притворяться дальше было бессмысленно, я находился «вне игры» — и я вышел из игры.

— Так, значит, это была игра?.. Вся жизнь — игра?! Телевизионное представление?!

Оператор переключился на другую камеру. В каюте Полины появилась маленькая Марта. Она остановилась у двери, недоуменно огляделась — и бросилась на койку Полины, обхватила подушку, плечи ее дрогнули и затряслись.

Полина вскочила.

— Я вернусь туда!

— Это невозможно, — устало напомнил Свен. — Эксперимент продолжается. И это действительно очень

важный эксперимент. Без него немислима звездная экспедиция... Настоящая...

— Нет, Свен, мы должны вернуться! Мы оставили их одних среди звезд, детей...

— О чем ты? Какие звезды? Они же здесь, на Земле, в трех шагах от нас!

— Нет, они летят среди звезд. Они верят в это, Свен!

— Да, пожалуй. Ты права, Полина. Они летят среди звезд. И они долетят. Но нам нет возвращения. Неужели ты хочешь отнять у них эту веру?

— Тогда... тогда мы выпустим их оттуда. Не держи меня, Свен. Не держите меня! Там же люди, люди... Вы не смеете! Я разнесу все ваши стальные двери... вот этими руками!

К ним подошел согбенный годами седой старик, похожий на кого-то очень, очень знакомого.

— Бедняжка, — сказал он Свену. — По себе знаю, теперь это надолго...

— А вот и дядя Рудольф. Познакомься, Полина.

Она глянула на него, как на выходца с того света.

— Ну, с возвращением? — грустно улыбнулся старик. — С возвращением со звезд, Полина!

* * *

Под куполом рубки, взявшись за руки и смело глядя вперед, на звезды, стояли Александр и Люсьен.



хитеры
ауша

Город только просыпался.

Сонные дворники нещадно пылили метлами. Ощупывая мостовую длинными серебряными усами, проползали поливальные машины и оставляли за собой мелкую водяную пыль и запах росы. Разбредались по домам так и не нашедшие себе применения усталые ночные женщины. В сторону порта брели мутноглазые матросы и ныряли в заботливо разинутые на их пути черные дыры кабаков. Уставясь в тротуар, пробегали скособоленные тяжелыми сумками почтальоны. Хорошенькие, как на подбор, девушки из больших магазинов опускали надоконные тенты и долго еще стояли на солнышке, позевывая и протирая кулачком припухшие после сна глазки.

Город просыпался, потягивался, расправлял плечи. В этом спектакле каждый отлично знал свою роль, поэтому выражение лица у всех было если не важным, то по крайней мере подобающим. И лишь один человек выделялся из общей массы благоденствующих горожан.

Каждое утро он появлялся бог весть откуда, этот нескладный человек неопределенного возраста. Сутулый, в мешковатом пиджаке, с волосами, сосульками падавшими на лоб, с давно погасшей трубкой в зубах, он вырастал точно из-под земли и некоторое время стоял так, шурясь на солнце и преглупо ухмыляясь. Потом, словно очнувшись от грез, растерянно оглядывался кругом и шел в сторону гавани. Его несоразмерно длинные руки смешно болтались при каждом шаге, точно резиновые, а башмаки удручающе шоркали по асфальту.

Он был рассеян. Его голова постоянно была занята какими-то «несоответствующими» мыслями. На его губах время от времени мелькала едва заметная беспричинная полуулыбка, позволявшая предположить, что человек этот не совсем в своем уме. Он сталкивался с торопливыми почтальонами и, задумавшись, натывал-

ся на размалеванных женщин, вызывая у них на лице презрительную гримасу. Он мог наступить на метлу дворника и ненароком попасть под ледяную струю поливальной машины. Если бы по улице пронеслась, завывая сиреной и давя собак, пожарная команда, он не заметил бы этого. Если бы возле кабака дрались на ножах пьяные матросы, он прошел бы между ними. Хорошенькие девушки под полосатыми тентами одаривали его мимолетной утренней улыбкой, а он ничего не замечал, этот странный человек, даже адресованных ему улыбок.

Обремененные заботами предстоящего дня, горожане провожали его равнодушным взглядом: мало ли ненормальных шатается по улицам. И не замечали его глаз — необыкновенных, притягательных, может быть, единственных во всем городе. Они никак не гармонировали с деловым настроением наспех прижорашивающихся кварталов, эти подернутые дымкой мечтательные серые глаза. Однако никто из ранних прохожих не имел ни времени, ни желания рассматривать чьи бы то ни было глаза.

Достигнув гавани и постояв несколько минут под свежим солоноватым ветром с моря, человек той же дорогой возвращался в центр города и исчезал там, словно сквозь землю проваливался. Но если даже кто-либо из дворников и заметил этот бессмысленный и торопливый утренний маршрут, наверняка уж никто не проявил ни малейшего любопытства, разве что в лучшем случае плечами пожал.

2

Как обычно, его прогулка закончилась у служебного входа большого универсального магазина, занимавшего целый квартал в самом фешенебельном районе. Диш переступил порог, и темнота поглотила его. В этот

ранний час полуподвальный этаж магазина был пуст. Огибая штабеля картонок и пирамиды тюков, горы мешков и бастионы из ящиков, Диш повернул направо, потом налево, потом еще несколько раз направо и несколько раз налево и остановился у обитой железом двери с надписью «Утильная». Оглядевшись и прислушавшись, нет ли случайно кого поблизости, он отомкнул тяжелую дверь своим ключом.

Полуподвальный этаж не зря прозвали в магазине лабиринтом. Многие, впервые попав сюда, блуждали по его закоулкам, как по лесу, не в силах выбраться без посторонней помощи. Диш и сам однажды едва не заночевал в темном «лабиринте», заплутав в поисках столярной мастерской, спасибо, выручил ночной сторож. Однако со временем он настолько освоился в полуподвале, что мог бы с закрытыми глазами найти любое помещение. И все же, когда Глом распахнул перед ним дверь «Утильной», Диш опешил — он и не подозревал ничего подобного. «Утильная» оказалась вовсе не утильной, а тайным входом в подвалы, о существовании которых никто в магазине не знал...

В лицо пахнуло прохладной сыростью, запахом плесени, под ногами пискнули ступени. В полной темноте Диш миновал с десятков поворотов и переходов, прежде чем впереди забрезжил свет. Узкий коридор уперся в дверь без всякой надписи, зато освещенную яркой лампочкой. Бесполезно было бы стучать или ломиться в эту дверь.

«Ваш покорный слуга, химеры!» — подумал Диш, и дверь отворилась сама собою. Мир за дверью был явно обитаем: послышались стуки и приглушенные неразборчивые слова, в нос шибануло горелой канифолью, дрянным ромом.

— Не отвлекайтесь, — долетел издалека сиплый голос. — Думайте: «Как дела, красotka?», «Как дела, красotka?» — и больше ничего!

Диш заглянул в одну из комнат, откуда валил едкий канифольный дымок.

— Привет, каторжники!

Из-под нагромождения электронных блоков, не выпуская паяльников, высунулись два обалдевших человека с красными от бессонницы глазами.

— Там дождь? — спросил один из них, ткнув пальцем в потолок.

— Солнце, ветер с моря и шелест листвы, — ответил Диш.

— Проклятое подземелье, — проворчал второй. — Тут забудешь, как пахнет солнце.

— Потерпите, теперь уж скоро, — подбодрил Диш.

— Кой черт скоро!

И, сразу забыв о нем, заспорили:

— Куда ты присоединил эту этажерку, дурила! Ты же воткнул ее в память, а я-то мучаюсь...

— В память, в память! Не в память, а в эмиссию, если бы ты что-нибудь понимал!

— В эмиссию! Добрая старая эмиссия, знай она, какие тупари придут в электронику, она никогда не появилась бы на свет...

В другой комнате тучный гипертоник, манипулируя экраном излучателя и вылупив склеротические глаза, сипло кричал на Глома:

— Опять посторонние мысли, шеф! Да что за дьявольщина, неужели вы, современные буржуа, не можете думать целеустремленно? «Как дела, красотка?» У вас все время разный рисунок мысли.

Измученный, изжеванный, полуживой Глом только тряс бородкой и, не возражая, старался сосредоточиться на одной чрезвычайно важной мысли: «Как дела, красотка?»

— Вы бы отдохнули, шеф, — посоветовал Диш. — Нельзя же доводить себя до такого состояния. Так вы никогда не добьетесь четкого рисунка.

Но Глом знал, за что приходится страдать. Операция под кодовым названием «Химеры» сулила колоссальные прибыли. Опасаясь ушей и глаз всюду проникающих конкурентов, Глом принял крайние меры предосторожности. Двухмесячное заключение в подземелье было оговорено контрактами, люди работали по восемнадцать часов в сутки, здесь же спали и ели, никто посторонний в тайник не допускался, и никто, кроме самого Глома и Диша, не выходил на поверхность. Предвкусная манящий запах золота, Глом стойчески переносил и усталость, и неудобства, и бессонные ночи, и даже издевательства со стороны им же нанятых людей. Хуже того — согласился на роль подопытного кролика, лишь бы поменьше привлекать посторонних.

— А ну-ка, Диш, сядьте на минутку, проверим ваш рисунок, а то шеф действительно того...

Но Диш уже спешил сырым коридором дальше. В помещении, заваленном полосками гибкого пластика, самозабвенно трудился над женским торсом старик мастер. Железные очки съехали на нос, залысины блестели от пота, рядом валялась пустая бутылка из-под рома.

— Помилуйте, что вы делаете! — вскричал Диш, увидев его произведение. — Кто это, позвольте вас спросить, обворожительная дама или толстозадая крестьянка, мамаша семерых детей?

— А чего? — Старик снял очки и протер их грязным фартуком. — Оно и обворожительнее, когда покруче да помясистей. Какой прок в костях...

— Эх, работнички! — вздохнул Диш. — Да на такой зад никакая юбка не налезет. Вот же у вас эскиз, и делайте, как здесь нарисовано.

— Нам чего, — обиженно пробормотал старик. — Наше дело маленькое. Хотели как лучше.

Диш прошел в жилую комнатку, глотнул рому прямо из бутылки и повалился на диван. Надо было поспать

пару часов и снова приниматься за работу, дело двигалось недостаточно быстро.

Он уже задремал, когда на краешек дивана опустился незаметно появившийся Глом. В неверном свете, бившем сквозь щелястую дверь, козлобородый, с опухшими веками и лихорадочно блестящими глазами Глом казался если не самим сатаной, то, уж во всяком случае, посланцем сатаны.

— Готовьте кубышку, Диш. Вы будете миллионером, — зашептал он зловеще. — Мне пришла нынче великая мысль: мы продадим патенты. В Париж, в Лондон, в Нью-Йорк! Нашему-то делу это не помешает. Мы перевернем земной шар вверх тормашками, стоит только захотеть. Так что гордитесь, Диш, — мир в наших руках!

Он засмеялся хрипловатым бляющим смешком, этот комичный старикашка, действительно страшный в своей самоуверенности, похлопал Диша по плечу — и стук его копыт замер в отдалении.

«Ваш покорный слуга, химеры, — проваливаясь в сон, подумал Диш словами электронного пароля. — Покорный, безропотный, инициативный, изобретательный слуга. Неужто и вправду ты будешь миллионером, Диш? Неужто и впрямь ты продался дьяволу? А давно ли еще мечтал о переустройстве мира! Эх, Диш, Диш, как же ты дошел до жизни такой?»

Но ему вовсе не хотелось вспоминать, как он дошел до жизни такой. Ему хотелось спать.

3

Диш появился в городе несколько лет назад. Уж так случилось, одним пинком вышвырнула его судьба из столицы, из наполненной, содержательной жизни в кругу единомышленников, из двухэтажного уютного особняка — на мостовую.

Отец Диша, совладелец небольшой электронной фирмы, мечтавший увидеть сына продолжателем своего дела, ждал, дожидаться не мог, когда Диш закончит колледж, получит диплом радиоэлектроника и вошьет в старые жилы фирмы молодую кровь новейших технических идей. Но неблагодарный сын, связавшись с шайкой лоботрясов, бездомных и безработных художников, увлекся какими-то бредовыми идеями перекраски мира, словно мир — всего лишь автомобиль, и бросил колледж, сущие пустяки не дотянув до диплома. Ни уговоры, ни угрозы не подействовали, и тогда отец одним пинком вышвырнул любимого сына из своего любящего отцовского сердца.

Ссора с отцом лишила Диша не только крова и обеспеченного существования, но и отняла у него друзей. Дружья остались в столице, чтобы, прячась от холода на чердаках, раскрашивать свои грандиозные, глобальные — и никому не нужные проекты, а он оказался в этом провинциальном городе, один, без знакомых, без рекомендаций, без гроша в кармане. Однако Диш и не думал бросать в своем изгнании то великое дело, которым грезили его столичные друзья. Он по-прежнему мечтал избавить человечество от тошнотворного однообразия, от серости и скуки жизни — первопричины всех несчастий века. Он мечтал разукрасить в веселые праздничные тона стены зданий, мостовые улиц и площадей, парапеты набережных, ограды парков, трамвайные поезда, пролеты мостов и сплетения проводов, телевизионные вышки и мрачные станции подземки.

Диш бродил по незнакомому городу, примеряя к нему свои столичные идеи, мысленно споря с самим собой, находя и тут же отвергая разные жизнерадостные и еще более жизнерадостные варианты расцветки и вообще забыв о пустом кошельке и пустом желудке.

Увлеченный такими думами, он случайно забрел в большой гулкий магазин. Диш обошел оба его этажа,

полюбовался фонтаном, который не мешало бы подсветить зеленым, чтобы он напомнил обывателю экзотическую пальму и хоть на секунду отвлек от мелочных забот, оценивающе прицелился к стеклянному куполу — и незаметно для себя по узенькой лестнице поднялся на третий этаж.

Почему-то здесь не было ни прилавков, ни продавцов. Диш не сразу понял, что это служебный этаж, а когда понял, начал поспешно искать выход. Наконец он выбрался из темных закоулков на свет. Стеклянный купол возвышался над самой его головой. Внизу толпился народ. Диш торопливо пошел по галерее и вдруг замер, пораженный. На противоположной галерее, удобно расположившись на низкой скамье с откинутой спинкой и вытянув длинные белые ноги, полулежало с дюжину голых женщин. Диш решил, что это продавщицы загорают в обеденный перерыв, и поспешно ринулся прочь.

Едва он сделал пять шагов, как чуть не наскочил на даму с великолепной обнаженной грудью. Она стояла в укромном уголке и, кажется, при виде его попыталась отвернуться. В ее руке он заметил яркий плед. Пути отступления не было — Диш напролом двинулся вперед, надеясь безнаказанно прошмыгнуть мимо, но задел ногой какую-то рейку, и красавица рухнула в его объятия, пребольно ударив головой в плечо. Только тут понял Диш свою оплошку.

Он поставил манекен в прежнее положение и, будучи прежде всего художником, искусно вложил плед в руки так напугавшей его дамы, полуприкрыв ее грудь, — и отступил на шаг, чтобы полюбоваться своей работой. Совершенно неожиданно перед ним предстала совсем другая женщина, целомудренная и стыдливая, попавшая вдруг в момент интимнейшего одевания в общество мужчин. Столько грации появилось в нервном движении рук, в досадливом повороте шеи, во взгляде опущенных

глаз. И все это сделал один только живописно брошенный кусок ткани!

Диш хотел уйти — и наткнулся на строгого пожилого человека.

— Кто вы? — спросил незнакомец.

— Я Диш, студент коллежа Сен-Круи. То есть я хотел сказать, бывший студент. Дело в том, что мой отец...

— Как вы сюда попали?

— Поездом, — ответил Диш. — Я приехал вчера вечерним экспрессом.

Старик озадаченно потерял бородку и задумался — вероятно, над формулировкой вопроса, на который смог бы получить более или менее вразумительный ответ.

— Позвольте полюбопытствовать... гм... гм... на что вы живете, где служите?

Но Диш глядел ему прямо в глаза и, казалось, во все ничего не понимал. Тогда старик кивнул на женскую фигуру, вдруг обретшую жизнь под руками Диша.

— И вы будете уверять, что никогда не занимались оформлением витрин?

— Никогда. Вернее, я думал, много думал... Например, трамвайные провода. Если им придать... то по контрасту они создадут иллюзию... Или вот станции подземки...

— Странно. Тем более странно, — не слушая бормотания Диша, изрек старик. — И у вас, разумеется, абсолютно пуст кошелек?

— Как вы узнали?!

Старик улыбнулся, и Диш, еще не пришедший в себя от испуга, понял, что все обошлось благополучно.

— Ну что ж, следуйте за мной... как вы себя называли? Диш? Вот и прекрасно, пойдете потолкуем о ваших планах, Диш. И о трамвайных проводах. Кстати, меня зовут Глом, я владелец этого магазина.

Выслушав историю Диша, который, рассказывая, всю уплетал булочки с маслом, Глом сказал:

— Все это отлично, молодой человек, и я охотно верю, что со временем вы перестроите мир на свой манер. Но пока не найден заказчик для столь грандиозного проекта... не поработаете ли у меня? Я намерен заново перекроить отдел дамского платья, очень уж он старомоден, а старомодность, как вы, может быть, догадываетесь, весьма ощутимо бьет по кассе. В вас есть искра божья. Мне кажется, та стыдливая грация, которую вы придали манекену, способна привлечь как раз женщин. Мужчины — другое дело, им подавай больше смелости, больше дерзости. Но ведь не они же будут покупателями в отделе. По рукам, что ли, Диш?

Так несколько лет назад нашел Диш и работу и, чего уж никак не ожидал, призвание.

4

Диш отлично понимал, что его профессия не очень-то романтична в сравнении с теми грандиозными замыслами, которыми жил кружок молодых столичных художников и которыми еще недавно жил он сам. Однако он понял и другое: его прежние друзья только мечтали о переустройстве мира и ничего, абсолютно ничего не делали, он же начал делать, пусть немного, но все-таки... Диш считал, что красота благотворно влияет на людей, загнанных сумасшедшим ритмом века, особенно если она не прячется в темных залах музеев, ожидая редких ценителей, а сама выходит на улицы навстречу людям. Он считал, что искусство должно проникнуть всюду, пропитать все поры человеческой деятельности, включая, разумеется, и витрины магазинов. И он записался рядовым в армию служителей красоты.

Сначала он полагался только на цвет и, отказав-

шись от суетной провинциальной пестроты, создавал единые броские ансамбли. Это принесло свои плоды, хотя, ей-богу же, в этом не было ничего нового. Когда отдел дамского платья, перестроенный по эскизам и под руководством Диша, проработал неделю, Глом пригласил Диша к себе.

— Вот вам итог, молодой человек: выручка отдела подскочила на треть. Чувствуете теперь, что значит реклама в материальном выражении, хе-хе-хе? — Он засмеялся, точно заблел, и козлиная его бородака выразительно завибрировала. — Так вот, Диш, вчера я выгнал к чертовой бабушке этого бездаря Блуамона. Теперь вы — главный художник. Рады? За год мы перекроим весь магазин, так что будет куда приложить способности. Это вам не трамвайные провода, хе-хе-хе...

Магазин Глома постепенно обновился, залы всегда были полны, продавцы только успевали поворачиваться, конкуренты косились и на Глома и на Диша, а Глом только руки потирал, прикидывая дневную или недельную прибыль.

Диш постоянно придумывал что-нибудь новенькое. То просто подновлял оформление витрин, находя более выразительные сочетания цвета, то предложил делать манекены из упругого пластика вместо мертвого папьемаше, то, наконец, поставил за стекло невидимые с улицы ветродуи, которые, развевая подолы, плащи и косынки, оживляли статичные фигуры, создавая притягательную иллюзию движения.

Но конкуренты не дремали, очень многое из того, что сделал Диш, моментально переключивало за витрины других магазинов, доходы шли на убыль, и Глом все чаще ходил мрачным, а Диш все чаще задумывался. Старая реклама уже не действовала, надо было срочно придумать нечто принципиально новое, сногшибательное, а Диш понятия не имел что. И тогда он начал бро-

дить по городу, изучая работу своих коллег, раздумывая перед витринами и смеша публику.

Все же как бездарно работают его собратья по ремеслу! Вот за стеклом стоит женщина, очень неплохо сделана ее фигура, со вкусом вылеплено и расцвечено лицо. Но что продают в этом магазине? — позвольте спросить вас, немая дама.

Но немая дама не отвечает на вопрос, она без умолку тараторит: «Я стою в вольной позе, мой макинтош расстегнут, у меня чудесное платье, украшенное причудливыми пуговицами. На моей шее яркие бусы, голова повязана прелестной косынкой а-ля рюсс, на руках тонкие перчатки. Я держу сумочку, которая еще не стала модной, но непременно станет в скором времени. На моих стройных ножках тонкие чулки необычного цвета и элегантные сапожки. Я стою в вольной позе, мой макинтош...» И так далее, все сначала. А вам, милая дама, задают всего лишь один вопрос: что продают в магазине? Пуговицы? Мерси, мадам, только это и требовалось узнать.

Отчего же происходит эта ненужная пестрота? От лени мысли? От незнания сути, назначения рекламы? Нет, вовсе не оттого. К сожалению, его братья художники видят в рекламе лишь средство прокормиться, а свое искусство оставляют в студиях и мастерских. Они боятся вынести искусство на улицы!

Так примерно думал Диш, бродя по городу. Пожалуй, он уже смог бы прочесть лекцию по теории оформления витрин. Да, в теории все было в порядке. Но вот на практике...

Конечно, витрина в первую очередь должна отвечать своему назначению. Она призвана кричать на всю улицу: «Пуговицы! Пуговицы! Пуговицы!» Но с другой стороны — тот, кому до зарезу нужны пуговицы, найдет и купит их без помощи рекламы. А вот как заставить прохожего купить даже то, что ему не очень нужно, как

заманить его в магазин, ошарашить, околпачить, очаровать яркой тряпкой и в конце концов всучить ему эту тряпку? Не очень-то благородно, но что поделаешь — такова эстетическая сущность рекламы. Как это сделать?..

Старик Глом все больше нервничал, то погонял Диша, требовал немедленных перемен за зеркальным стеклом витрин, то умолял не торопиться, подумать хорошенько, чтобы найти некое радикальное средство, а на днях даже намекнул, что слишком много безработных художников шатается вокруг, не взять ли кого из них... в помощь Дишу?

День за днем, ночь за ночью Диш ломал голову в поисках решения, грыз мундштук трубки, варил кофе на спиртовке, но ничего не мог придумать. Нужен был заряд, импульс, чтобы какой-то винтик шевельнулся в голове, и тогда мысль сначала легко и плавно, а потом все быстрее, все энергичнее заработала бы в заданном направлении. Но такого заряда пока не было.

А может, Диш не там искал его, где следовало?

5

Он жил в маленькой комнатухе под магазином, кстати, совсем рядом с утильной, в комнатухе без единого окна, где стоял только продавленный диван, облезлое кресло да столик, на котором он варил кофе. Поначалу такое жилье вполне устраивало Диша: днем не тратилось время на ходьбу в магазин, а ночью, когда в огромном здании не оставалось никого, кроме сторожа, хорошо было разгуливать гулками залами и думать.

Диш не знал никаких развлечений, по выходным работал, как в будни, и жизнь его текла монотонно — если не считать непрерывного увлекательного полета

мысли. Все это удовлетворяло его. Правда, в последнее время, бродя по городу, он начал замечать, что обыватели посмеиваются над ним, а иные даже считают малость чокнутым — это не трогало Диша, он умел прощать людям их маленькие слабости.

Зато какую радость доставляла ему улыбка молодой продавщицы, весь день простоявшей за прилавком и уставшей от необходимости заученно улыбаться клиентам! Он знал, как нелегка жизнь этих легкокрылых созданий и как редко дарят они улыбки не по обязанности. Ему они улыбались от души — и не только за то, что после его работы над новой витриной чудесным образом увеличивался поток покупателей, все неходовые вещи брались нарасхват, и хозяин вынужден был приплачивать процент к жалованью — небольшую, но приятную сумму, на которую девушка могла купить одну из вещей своего прилавка или провести воскресенье в загородном парке. Нет, не только за это любили они нескладного Диша! Он умел сделать их жизнь хоть чуточку краше и веселее. Они восторгались его витринами, где товары словно оживали, выставляя напоказ все свои достоинства и пряча недостатки. Они весело смеялись его шуткам, когда он работал в задних комнатах магазина. И они замирали в восторге, когда он говорил с ними, потому что он — наверное, один во всем мире! — умел говорить с ними по-человечески. Слушая его, они начинали верить, что они действительно обаятельны и умны, что жизнь не так уж беспросветна и что всегда в ней можно найти отдушину для радости.

Да, юные продавщицы магазина любили его. Но все не о такой любви мечтал лишенный семьи и друзей Диш. Он ждал, что рано или поздно простое обожание перейдет в страсть, и тогда одно из этих ветреных созданий, например, хорошенькая большеглазая Фанни...

За годы работы над оформлением витрин приходилось ему попадать в положения, очень похожие на то

первое, так напугавшее его столкновение с неодетыми манекенами. Раз даже — в том самом памятном месте — наткнулся он на загоравших девушек. Они защебетали, пригласили посидеть с ними, но чтобы застыдиться или спрятать ноги!.. В другой раз в пустой примерочной он застал скромную, всегда сдержанную Фанни за примеркой модного корсета. Недотрога и глазом не моргнула, наоборот, обрадовалась, увидев Дишу. И как он ни краснел, как ни смущался, а пришлось помочь ей зашнуроваться да еще высказать по поводу корсета свое квалифицированное мнение. Видно, девушки настолько к нему привыкли, что считали своим в женской компании.

Иногда он бывал в их уютных гнездышках на окраине города, его звали запросто, как друга. Ох уж эти девичьи гнездышки — горка безделушек да флаконов у зеркала, тяжелые занавески и чистенькая постелька в полкомнаты! Как уютно сидеть здесь рядом с хозяйской и вести бесконечные разговоры — разговоры ни о чем и о многом. Но едва время поворачивало к вечеру, девушки начинали проявлять признаки беспокойства — и он оказывался один на один с гуляющим пьяным городом.

Может быть, осмелюсь он пригласить ту же Фанни в кино, или в ресторанчик, или в загородный парк на воскресенье, все сложилось бы иначе, но проклятая застенчивость мешала Дишу. Да и зеркало, в котором он виделся изредка с сутулым неуклюжим человеком неопределенного возраста, обладателем висящих сосульками волос и обгорелой трубки, не поощряло его к более решительным действиям.

Он ходил вокруг Фанни, и вздыхал, и поджидал ее в пустых коридорах «лабиринта» — она ничего не замечала, лишь кивала приветливо, как любой из подруг. Если бы она пригласила его в гости... Уж он не дал бы выставить себя за дверь! Ему бы положить голову на

ее теплое плечо и хоть на час забыться. Забыть про кофе, про сырые стены своей каморки, про впивающиеся в бока пружины дивана — и не вспоминать, не вспоминать о той заботе, которая круглые сутки неотступно преследует его!

Был ли он влюблен? Едва ли. В конце концов не обязательно Фанни, пусть другая. Его угнетало одиночество, он страдал без близкой души, без человеческого участия. Он жаждал возвышенного, как жаждет грозы изморенная зноем земля.

Бессонными ночами, перебрав в уме и тут же отбросив десятки проектов невероятных, сенсационных, умопомрачительных витрин, как он мечтал хоть раз перенестись из пропитанной табачищем кельи в уютное девичье гнездышко. Допускаются же туда сынки богатых торговцев и владельцев кораблей, недалекие бездельники и шалопайи. Диш отлично знал про все проделки своих шаловливых подруг, недаром то одна из них, то другая особенно старательно припудривала по утрам припухшие глазки. Ну что им стоит — той же Фанни, например, — подарить эти ласки Дишу, которого они любят! Он был уверен: случись такое — и душа его отдохнет, смягчится, оттаяет, а потом какой-то случайный винтик шевельнется в голове, и мысль четко заработает в нужном направлении.

Наверное, он совсем не там искал этот первичный импульс, где его следовало бы искать.

6

Однажды Глом отчитывал заведующего отделом, который упустил одного из отцов города, ничего не продав ему, кроме полдюжины галстуков.

— Ну и что же, что он интересовался только галстуками! Не ваше дело, чем он интересовался. Вы обя-

заны были выложить перед ним на прилавок все. Все! Человек с толстым кошельком вправе ожидать, чтобы его желания угадывались наперед...

Больше Диш ничего не слышал. Его охватила та заветная внутренняя дрожь, которая всегда предшествовала лучшим его идеям. Он понял: жар-птица рядом, надо хватать ее за хвост. И тогда он изловчился — и поймал птичку.

Назавтра утром он сказал Глому:

— Кажется, я придумал кое-что.

Глом торопливо задернул портьеры на окнах, плотно прикрыл дверь, даже отключил телефон — в последнее время он стал крайне осторожен.

— Слушаю, Диш.

— Я уже говорил вам, что учился в коллеже и всего полгода не дотянул до диплома радиоэлектроника. Так вот — наука пригодилась. Беда в том, что прохожие смотрят на нашу витрину и попросту не замечают ее. Я придумал, что сделать, чтобы витрина приковала взгляд любого идущего мимо. Пусть только посмотрит — и он наш.

— Прекрасно! И как же вы надеетесь заполнить прохожего?

— В этом весь секрет. Но боюсь, затея дорого обойдется.

Бородка Глома мелко задергалась от беззвучного смеха:

— Нет такой суммы, которую я не решил бы истратить на рекламу, дорогой Диш. Выкладывайте вашу идею!

— Идея проста, вы сами высказали ее вчера. Мы будем угадывать наперед все желания человека с кошельком. Будем читать его мысли.

— Как?

— Вам, вероятно, известно, что существуют биотоки мозга. Если говорить грубо, каждой мысли, пронесшей-

ся в нашем котелке, соответствует строго определенный электрический импульс. В клиниках эти биотоки давно научились снимать и расшифровывать. Нам же придется снимать эти сигналы, так сказать, на расстоянии. Разница существенная, хотя и не принципиальная. Кроме того, предстоит создать что-то вроде азбуки мозговых импульсов, разумеется, простейших. Своеобразный словарь перевода энцефалограмм на язык слов. Ну и последнее, самое сложное, — обратная связь. Мы даем понять обладателю толстого кошелька, что его мысль прочитана, желание угадано, и тем самым приковываем его внимание к витрине.

Глом всем телом подался вперед:

— Даем понять — каким образом?

— За стеклом будут стоять... нет, не манекены... химеры...

— Химеры?!

— Обольстительные химеры, ничем не отличающиеся от живых женщин. Умеющие двигаться, улыбаться и строить глазки. И моментально реагирующие на каждую мысль идущего мимо. Этакие исчадия ада. Кокетливые задиры в юбках. От них буквально проходу не будет...

— Что-то я вас не очень понимаю.

— Допустим, вы, случайный прохожий, бросили на витрину беглый взгляд, увидели симпатичную дамочку за стеклом и подумали машинально: «Как жизнь, красотка?» И она сразу ответит вот таким жестом: «На большой!»

— Браво.

— Если же наш «радар» уловит импульс, скажем, «чулки», химера изящно выставит ножку.

— Брависсимо, Диш! Я всегда говорил, что у вас золотая голова. А вдруг наш «радар» уловит импульс не «чулки», а, скажем, повыше?

— Ну, необязательно же задира́ть юбку. Можно научить химеру как-то иначе реагировать на такого рода мысли. Например, погрозить нахалу пальчиком.

— Отлично. А если поставить в витрину живые манекены? Не обойдется ли это дешевле?

— Живые, к сожалению, не могут читать чужие мысли. Но если бы и могли — они слишком медлительны. Весь расчет на мгновенную реакцию.

Глом задумался лишь на минуту.

— Что ж, по рукам. Начинаем немедленно. И подстрожайшим секретом. Кто нужен вам в помощь, Диш?

Поначалу дело пошло гораздо быстрее, чем предполагали. Маленькая исследовательская группа в составе двух кибернетиков, радиоинженера, нейрофизиолога и психолога день и ночь экспериментировала в тайнике под «лабиринтом». Диш с головой ушел в работу, лишь три-четыре часа в сутки отнимали у него еда и сон. То он помогал монтировать сложную электронную схему, то мастерил из пластика опытный образец подвижного тела «химеры», то служил кроликом нейрофизиологу, вконец измотавшему бедного Глома. Глом тоже не жалел себя, а главное — не жалел средств. И вот — уже не за горами финиш.

...Сквозь щелястую дверь все так же пробивался из коридора дымный свет, пахнувший горелой канифолью и ромом. Все так же надрывался силый голос:

— Думайте! «Какие серьги! Какие серьги!»

Так и не уснувший толком Диш сел на диване и запустил в волосы пятерню. Он чувствовал себя предельно раздраженным, предельно разбитым. Нет, все-таки нельзя ложиться с занозой в голове, это будет не сон — одна мука. «Как же дошел ты до жизни такой?» Да так и дошел, как все доходят, постепенно, шаг за шагом. Другой бы радовался — до миллиона добрался. А все

Глом с его глобальными притязаниями: «Мы перевернем земной шар вверх тормашками». Переворачивал бы один, коли есть желание, так нет, пришел поделиться радостью, весь отдых человеку испортил.

И тут Диш всполошился: сквозь обрывки воспоминаний, сквозь мучительные размышления о собственной судьбе он успел как будто бы еще и сон посмотреть краем глаза... а может, не сон, видение... будто он здоровается с Гломом, а у Глома рука из пластика, противная, мягкая... зашнуровывает корсет на Фанни, а под корсетом упругий холодный пластик... садится за бритье, а брить нечего — вся физиономия тоже из пластика.

— Тыфу, напасть! — плюнул в сердцах Диш. — Нервы шалят, что ли?

Руки его моментально вспотели. Машинально глянул он на ладони. В сероватом свете, пробивавшемся сквозь щели, ладони его выглядели так же, как мертвые тела «химер».

7

Наконец настал час генерального испытания. Первая «химера» возвышалась на постаменте посреди комнаты, в углу громоздился «радар», в противоположном углу поставили стул для Глома. Радиоинженер настраивал систему, ковыряясь в ошметинившемся цветными проводочками, сопротивлениями и триодами пульте. Нейрофизиолог подремывал тут же, дыша тяжело, как загнанный паровоз.

— Ну так зовите же шефа, — напомнил один из кибернетиков.

— Сходи да позови, — устало огрызнулся другой.

— Сейчас я схожу, — предложил Диш. — Но стойте, дама-то... нагая.

— Бог с ней, — махнул рукой психолог. — Шеф не заметит. Шеф ничего не замечает, кроме денег.

— Нет, нет, надо все-таки соблюдать приличия, — не согласился Диш. — Неужели здесь не найдется никакой яркой тряпки?

Но ярких тряпок в подземелье не было. Пришлось использовать полотенце. Диш стянул его концы на спине «химеры», опоясал проволокой — получилось нечто вроде передничка. Этим и ограничились.

Глом вошел торжественный, праздничный, благоухающий дорогим одеколоном.

— Вы неотразимы, шеф, — сказал, подмигивая остальным, психолог. — Вот сюда, пожалуйста, на стульчик.

Но Глом и не думал садиться. Он обошел «химеру» кругом и, разумеется, не удержался, чтобы не похлопать по незадрапированному мягкому месту. Однако едва он занес руку, как «химера» предостерегающе выставила ладонь и укоризненно покачала головой. Глом испуганно отпрянул.

— Ну, здравствуй, здравствуй, красotka!

Она благосклонно кивнула хорошенькой головкой. Глом отер лоб платком и плюхнулся на стул.

Голубоглазая блондинка в заляпанном передничке умела немного. Она могла улыбаться, подмигивать, строить глазки, смотреть на часы, грозить или подманывать пальчиком, поправлять прическу, вызываясь подбочиваться и выставлять ножку. Но различные сочетания из двух десятков простейших движений способны были выразить уже довольно сложную гамму чувств. Во всяком случае, учитывая интеллектуальный уровень обывателя, большего и не требовалось.

Добрый час демонстрировала блондинка свои таланты, и ни разу сочетание жестов не повторилось. А под конец в ответ на какую-то особенно смелую мысль

испытателя элегантно преподнесла кукиш, одобренный безукоризненной улыбкой.

Глома едва кондрашка нехватила. Даже он, посвященный в тайну замысла, не ожидал ничего подобного. Шеф торжествовал бурно... и щедро. Немедленно принесли дюжину шампанского, пустили пробки в потолок. Когда иссякло шампанское, появился ром, а потом еще что-то, такое крепкое, что никто уже не мог прочесть надпись на этикетке. Глом обнимал одного за другим своих наймитов и бормотал:

— Доводите, ребята, доводите. Ей-богу, озолочу. Доводите!

А всеми забытая блондинка, уже без полотенца, понадобившегося во время пира, до вечера стояла на постаменте среди пьяной компании и, улавливая знакомые ей обрывки мыслей, многозначительно поглядывала на часы и покачивала головой.

Назавтра окончательно утвердили эскиз новой витрины по всему фасаду. Пока в подвалах «доводили» технику, мастерские работали в три смены. Очень скоро «наши маленькие химеры», как любовно называл их Глом, должны были заманить в магазин первых спешащих мимо прохожих.

Глом потирал руки. Ему уже мерещилось: ревушая толпа штурмует двери, продавцы не успевают упаковывать покупки, кассиры сбились с ног, разменивая крупные билеты, взмыленные рабочие бегом подносят товары, склады быстро пустеют, сейфы ломаются от денег. На радостях Глом даже пообещал Дишу изрядный куш в виде процента от прибыли, если дело выгорит.

Иную картину видел в своем воображении Диш. Тяжелыми небрежными складками падает декоративная ткань, отделяя один сюжет от другого...

Опершись ногой о камень, далеко-далеко устремила взгляд юная мечтательница. Свежий ветер развевает ее

блестящие черные волосы. Чайка мелькнула белым крылом — как парус, бегущий над волнами.

«Кого ждешь, дочь рыбака?»

И она, очнувшись от раздумья, глянет на часики и небрежно поправит упавшую на лоб прядь.

«Вспомнил! Купить часы».

«Уж не продует ли тебя ветром, сердешная?»

И она зябко запахнется в плащ.

«Ах да, плащ! Скоро ведь осень, дожди. Зайду-ка в магазин прямо сейчас».

Блондинка в легком утреннем одеянии колдует за туалетным столиком. Едва заметно поворачивается в ее руках круглое зеркальце, едва заметно наклоняется изящная головка. На полной шейке, на запястьях тускло переливаются жемчужины.

«Недешево же обходится содержать такую».

И она рассеянно глянет за стекло и вздохнет, вспомнив своего обожателя.

«Черт возьми, совсем забыл — надо купить подарок Мари!»

«Недѣлѣственно было бы заполучить на неделю эту-кую пышечку».

И она, закинув ногу за ногу, вдруг высунет язык.

«А впрочем, в ее халатике и моя старушенция покажется аппетитной!»

Так будет, будет очень скоро. Диш знал, все будет именно так. И толпа у витрины, и полон магазин покупателей. И даже влюбленные. Не мудрено влюбиться в «химеру», предупреждающую каждое твое желание. Тем более что живым женщинам меньше всего дела до мелькнувшей в твоей голове мысли. Наконец-то тебя заметили в сутолоке города, обратили на тебя внимание, угадали твою мысль. А то уж ты начал было сомневаться: да не манекены ли окружают тебя, не манекен ли ты сам?!

В закрытых снаружи витринах шли последние приготовления. Рабочие прятали хитрые механизмы, проверяли ветродуи, еще и еще раз испытывали «радары». Портнихи срочно обшивали пока не одетых «химер». Дел было по горло. И совершенно измотанный Диш впервые за последние десять дней позволил себе вылазку в город.

Он бесцельно бродил знакомыми улицами, с грустью вспоминая Фанни, которую теперь каждый вечер поджидал у магазина молоденький морячок с торговца, думал о впечатлении, которое произведут на город его «химеры», и лишь по привычке рассеянно поглядывал на витрины: какое ему дело до других! Он устал, устал. Может, съездить на месяц в горы, благо Глом обещал премию...

Диш остановился перед витриной маленького, в одно окно, магазинчика. Его взгляд упал на ноги неуклюжего мужчины в пропыленных брюках, весьма модных, вероятно, в конце прошлого века. Это было так убого, что невольно он начал зевать.

И вдруг за штанинами мелькнули стройные женские ножки — из тех, которые властно приковывают взгляд мужчин. Диш заметил, что икры их напряглись и ловкая мышца шевельнулась под тонким чулком, как если бы женщина, привстав на носки, потянулась вверх. Он быстро кинул взгляд вверх — шляпа на неуклюжем мужском манекене чуть сдвинулась. Рядом стояла плохо сделанная женская фигура, и Диш мог бы поклясться, что, конечно же, не ее ножки мельнули перед ним. Но никого больше в витрине не было.

Это заинтриговало Диша. Он торопливо оглянулся и отметил, что прохожих поблизости нет, а заодно отметил, что рот его, раскрытый для зевка, до сих пор не закрылся.

Диш сделал шаг в сторону и обнаружил за мужским манекеном... маленькую женщину. У него перехватило дыхание — она была как две капли воды похожа на Фанни! Вернее, Фанни была похожа на нее, насколько может быть похожа на человека бесчувственная раскрашенная кукла! У незнакомки было милое, очень живое, немного испуганное лицо и озорные, чуть удлинённого разреза глаза. Ее спутанные каштановые волосы тяжелыми жгутами падали на плечи. Просящая растерянная улыбка застыла на губах.

Ее глаза умоляли о чем-то, и обещали, и призывали, и лукавили, а на ресницах уже блестели слезы. Вот-вот готовая расплакаться, она медленно подняла руку и, заклиная молчать, прижала палец к губам.

И Дишу вдруг представилось, что он поедет с нею в горы. Но сразу вслед за этим он понял, что поехать в горы — пустяк, частности, он всю жизнь искал ее, и мечтал о ней, и грезил ею ночами, ею, а вовсе не глупой Фанни. И еще совсем не зная ее, он уже был влюблен в нее как в чудо, как в редкую благосклонную улыбку судьбы, и был совершенно, бесконечно счастлив.

Но аналитический ум его не дремал. «Что за чертовщина? — подумалось Дишу. — Что это я, свихнулся от переутомления? Сплю на ходу и вижу сны?»

Маленькая женщина за стеклом стояла недвижно, и лицо ее, словно сделанное искусным художником, ровно ничего не выражало. В витрине было три манекена, два явных и один... один необъяснимый, загадочный, влекущий.

Диш погрозил ей пальцем — она будто и не видела. Он улыбнулся — на ее лице не отразилось ничего. Тогда он внезапно замахнулся на нее. От этого жеста любой живой человек неизбежно вздрогнул бы. Но она не шевельнулась.

И тогда Дишу все стало ясно: он попался на собственную удочку! Его опередили, обокрали, ограбили.

Проклятье на его голову! Но кто и как мог украсть секрет из подземного тайника?!

Резко повернувшись, он помчался к себе, чтобы скорее сообщить обо всем Глому.

9

Десятки прохожих были свидетелями того, как длинный нескладный человек весьма сомнительной наружности, подбегая к большому магазину в центре города, вдруг круто повернул назад и еще быстрее помчался в обратном направлении.

— О рассеянность, — сказала дама в пенсне.

— Верно, полицейского испугался, — процедил член муниципального совета.

— Забыл кошелек, — прошамкала старуха.

— От долгов убегает, — предположил торговец консервами.

— Сумасшедший, — определил молодой ученый, вот уже полвека работающий над диссертацией «О приращивании к организму человека третьей ноги для более быстрого хождения в целях разгрузки городских магистралей».

И только девчонка, торговавшая цветами на углу, решила:

— Влюбленный!

А Диш, ничего не замечая, расталкивая встречающих, мчался по улице — туда, туда, где осталась она.

Какого черта понесся он как угорелый, чтобы сообщить о своем открытии Глому? Какое дело ему до Глома, до всех скопидомов и стяжателей мира? Разве мало крови выкачал из него Глом? Да провались он вместе со своим магазином и со своими дрянными товарами, которые никому не нужны! И как мог он ради Глома так глупо, так нелепо оставить ту, с которой столкнула его судьба в редкую минуту щедрости своей, ту, которая

удивила и вдохновила его, заставила трепетать и любить, ту единственную на свете, которую он так долго ждал? Глупый, глупый Диш! Неужели твои химеры дороже тебе настоящего, живого, осязаемого счастья?

Он едва не плакал. И в то же время ликовал. Он сделал величайшее в своей жизни открытие. Теперь он знал наверняка, что его искусство ничего не стоит. Да и какое там искусство! Он разменял свое искусство на жалкие медяки, поставил на службу толстосуму, он предал свое искусство. Диш готов был отказаться от всего, что сделал, чем жил и страдал, о чем мечтал, забыть обо всем ради одного только взгляда этой милой, этой загадочной... Кого? Женщины или призрака? А вдруг она тоже — произведение искусства? Вдруг нашелся еще один хитрец, скрестивший искусство с электроникой? Нет, конечно же, нет, она живая, настоящая! Такую растерянность, такую мольбу, такие слезы на ресницах невозможно имитировать, уж он-то знает.

К черту все! Он мечтал расцветить этот серый стертый мир, сделать его привлекательнее и краше. Наивные мечты! Его обвели, оболванили, околпачили, его заставили приумножать банальность, из него вытянули душу живу, а в благодарность... в благодарность едва не отняли последнее — ту, которая мельнула за стеклом. Так пропадите вы пропадом, и оболванивающие и оболваненные, — он все равно найдет ее и будет счастлив вам наперекор! Они уедут в горы вдвоем и спрячутся там от ваших забот, от вашей суеты, от вашей корысти. Очень кстати, что он отхватил куш — деньги обеспечивают, по крайней мере, независимость. И уж там, в горах, построив вместе с нею свой счастливый мир, он, может быть, вернется к давней идее перекраски вашего мира. А может, и не вернется. Но это все потом, в будущем, а пока важно только одно — не упустить ее!..

В витрине не было никого, кроме двух неуклюжих манекенов.

Он отыскал хозяйку, рано располневшую болезненную женщину.

— Вы хотите осмотреть нашу витрину? Пожалуйста, но, право же, ничего интересного.

И действительно, ничего интересного. Пропыленные брюки, весьма модные в конце прошлого века, пропыленная шляпа — и никаких следов той...

— Я художник, мадам. Извините, но всего полчаса назад я проходил мимо, и мне почудилось, в вашей витрине стоит... еще одна, весьма любопытная фигура...

— Что вы, вам показалось. Мы давным-давно не обновляли витрину. Не по карману, знаете ли. Дела идут скверно, налоги растут. К тому же магазин только что открылся, по четвергам мы всегда открываемся в обед. Полчаса назад здесь еще никого не было, один муж...

— Что вы, что вы! — изумился муж, здоровенный рыжий детина. — Женская фигура в витрине? Этого не может быть, вам померещилось, безусловно, померещилось, все утро в магазине был я один. Ох уж эти художники! — И он сочувственно похлопал Диша по плечу.

Диш еще раз обошел зал, еще раз взгляделся в лица девушек, потом вместе с добродушным хозяином отправился смотреть няньку, прислугу, соседей. Нет, нет, нет...

На улицу он вышел совершенно разбитым.

Он начал понимать, что, связав свою судьбу с миром призраков, всегда будет страдать, всегда будет несчастен. Чудак, он вздумал жить в нереальном, им же придуманном мире — и наказал сам себя. Рано или поздно всегда приходит расплата.

Но постой, постой, Диш! А если ее не существовало вовсе? Если она родилась в твоей истерзанной голове? Если это видение твоей фантазии? Еще одно видение? Нет, не может быть, чтобы в таком большом городе, на такой большой земле не существовало одной-единственной маленькой женщины — именно ее. Не может быть!

Шли месяцы, бежали дни, мелькали минуты.

Он шатался по улицам, навсегда забросив свое сомнительное искусство, и вглядывался в лица встречаемых женщин. Особенно часто появлялся он в тихом переулке возле рынка. Но знакомая до мелочей витрина оставалась по-прежнему безжизненной.

А в центре города, у витрин большого магазина гоготала, хваталась за животы, пыхла, толкалась, тыкала пальцами, сыпала непристойностями, хихикала и колыхалась толпа. И выставленные напоказ наивные женщины растерянно повторяли день за днем одни и те же надоевшие движения. И где-то в чреве магазина, сыто ухмыляясь, потирал руки тщедушный козлобородый старик.

Диш только раз взглянул на этот шедевр, на этот электронный балаган — и больше никогда не появлялся в центре. Свою незнакомку он предпочитал искать по окраинам.

Однажды он брел темным переулком, брел бесцельно, неизвестно куда — и вдруг в лице прошедшей мимо женщины мелькнули знакомые черты. Он догнал ее, схватил за руку. Она была похожа на ту — как раскрашенная кукла может походить на живого человека.

— Диш! — воскликнула девушка обрадованно. — Это вы, Диш? Наконец-то я вас встретила!

Она взяла его под руку, и он узнал ее. Это была Фанни, хорошенькая Фанни, продавщица из магазина Глома.

— Как я рада, что встретила вас! А почему вы к нам не заходите? Зазнались, как стали богачом? Вы такой милый, вы самый интересный из всех мужчин. Девочки скучают без вас, — щебетала она.

Диш молчал.

— А у нас прибавка к жалованью. И меня теперь

сделали старшей в отделе. Хотите кофе? Пойдемте ко мне, я угощу вас кофе... и ликером. Так это правда, что вы миллионер?

Диш нашарил в кармане несколько медяков.

— Вот все мое состояние.

Она рассмеялась недоверчиво:

— Вы все такой же шутник! Но я вам не верю, Диш. Наверное, вы кораблевладелец? Или банкир? Идемте же, идемте скорее!

Диш пил кофе и смотрел на Фанни, как на стенку.

— Да, Фанни, — спросил он наконец, чтобы не быть совсем уж невежливым. — Где же тот... морячок?

— Про какого морячка вы спрашиваете? Про торговца или про военного?

— Про торговца.

— Ну, это глупости, Диш. Это был просто знакомый.

Фанни налегала на ликер, Диш на кофе. Она все больше пьянела, он все больше трезвел.

— Помните, однажды я поймала вас в пустой примерочной? Вы еще зашнуровывали мне корсет?

— Не помню, Фанни.

— Как я была влюблена в вас, Диш! Я полгода преследовала вас, а вы ничего не замечали. Помните?

— Ничего такого не помню.

— А теперь вы у меня в плену. Так уж и быть, я разрешу вам расшнуровать мой корсет.

Диш подошел к окну, откинул портьеру. По улице, в светлом круге от фонаря, торопливой походкой шла... она. Или очень похожая на нее. Диш опрокинул стул, рванул дверь, загремел ступенями на темной лестнице.

Хорошенькая Фанни, уже начавшая раздеваться, пожала плечами. Она не привыкла к столь невежливому обхождению...

Идут годы, бегут месяцы, мелькают дни.

Странный, ни на кого не похожий человек бродит по городу и рассеянно рассматривает встречающих, глядя как бы сквозь них, будто ищет кого-то живого, затерявшегося в бесконечной толпе манекенов.

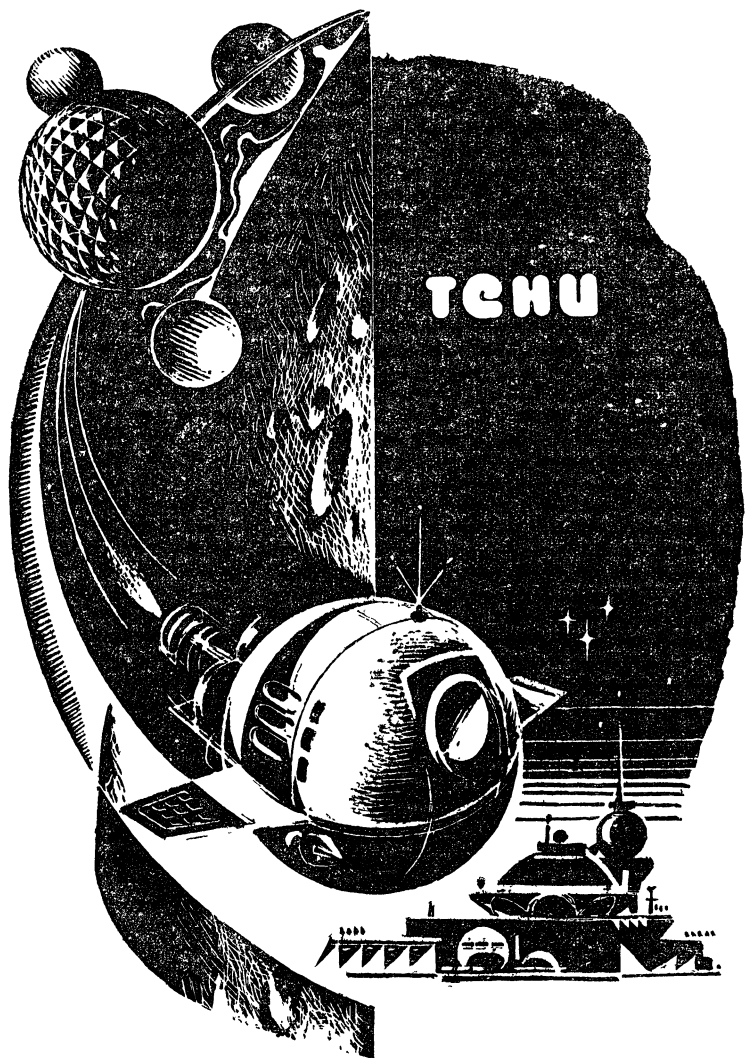
Завидев его, дворники поднимают невообразимую пыль. Поливальщики улиц пускают в его сторону струю похлестче. Угрюмо поворачиваются спиной матросы. Торопливо оббегают почтальоны. Хорошенькие, как на подбор, продавщицы магазинов провожают его сонным взглядом. И лишь некоторые из женщин, нашедших себе применение прошлой ночью, именно те, что были когда-то продавщицами большого универсального магазина, грустно улыбаются и незаметно опускают в его карман липкие медяки. И никто в городе не сомневается, что это сумасшедший...

Однажды пустая смазливая мешаночка увидела из окна нескладную фигуру Диша, и эта фигура показалась ей знакомой. Она попристальней вгляделась в его лицо, сосредоточенное на какой-то одной глубокой мысли, и вдруг вспомнила, где видела этого человека.

Как-то раз, уже много лет назад, она забежала на часок к своему случайному любовнику, огромному рыжему детине, владельцу небольшого магазина. Едва она успела соскользнуть с постели и натянуть платье, кто-то позвонил. Оказалось, пришла с рынка жена рыжего. Мешаночка перепугалась. Магазин был еще пуст, и она спряталась в витрину.

Случайно задев шляпу пропыленной мужской фигуры в витрине, она с ужасом заметила, что с улицы на нее смотрит смешной длинный человек. Жена рыжего была рядом, а мешаночка больше всего на свете боялась скандалов. И она застыла в витрине, как восковая фигура. Но все же так умоляюще смотрела на этого длинного, что он не стал подымать шум и ушел.

И теперь, увидев бредущего по улице Диша, она рассмеелась ему вслед.



Астронавт проснулся за неделю до сближения со звездой.

Он проснулся и попытался сосредоточиться и вспомнить, кто он, где он, откуда он и что с ним было раньше, но что-то мешало сосредоточиться и вспомнить.

Он сознавал только, что и в прошлый раз, проснувшись, тоже прежде всего попытался сосредоточиться и вспомнить все это и тоже в первое время мог вспомнить лишь одно: что и раньше, проснувшись, он уже не раз вспоминал, кто он, откуда он и зачем он, но только в те разы ему ничто не мешало сосредоточиться.

Так и не восстановив в памяти, кто он такой, не ощущая себя, астронавт попробовал определить, что же мешает ему сосредоточиться, — и вдруг понял, что это звук... тонкий, пронзительный, почти одушевленный писк: пи-пи-пи... ли-пи-пи... пи-пи-пи...

Серии попискиваний повторялись строго периодически, чувствовалось в них что-то упорное, отчаянное, такое, что астронавт сразу сбросил остатки сонливости и превратился в сгусток энергии. Это могли быть сигналы Разумного!

Еще прежде чем вспомнить и осознать себя, он сообщил, что надо делать. Он щелкнул тумблером универсальной радиоантенны, стрелка приемника метнулась вправо, побежала по шкале, дрогнула, остановилась — и в тесную рубку «Скитальца» ворвалась музыка. Музыка, которой астронавт не слышал уже миллионы лет.

Это была грустная музыка, рассказывавшая о том, как хорошо было жить, как гармонично был устроен мир и как велик был в этом мире человек, пока исподволь накапливавшиеся в царстве благоденствия и справедливости помехи не привели к катастрофе, и тогда гармония сменилась хаосом, в котором не осталось места человеку, лишь разрозненные всплески воспоминаний о про-

шлом вкрапливались еще время от времени в какофонию — и таяли, тонули в вечности.

Впервые за свою бесконечно длинную жизнь пожалел астронавт, что не умеет слушать музыку. Слушать просто так, ни о чем не думая, — и плакать. Он же слушал музыку не сердцем, а разумом, он расчленял мелодию на отдельные звуки, созвучия, темы — и анализировал ее, но, разъявши, не мог уже собрать воедино, и душа музыки оставалась для него за семью печатями. И все-таки он почувствовал нечто такое, чего никогда прежде с ним не было: будто внутри у него все тает, как хрупкий ледок звонким и прозрачным мартовским утром.

И тогда, не принуждая себя сосредоточиться, он вспомнил все, вернее, все вспомнилось само собою...

Он вспомнил, что зовут его Ольм, что он астронавт и ведет звездный автомат «Скиталец», двенадцатый из серии «Скитальцев». Вспомнил, что он уже много миллионов лет в пути, и впереди еще много миллионов, почти вечность, но девяносто девять и девятьсот девяносто девять тысячных процента этого времени он проспал в специальной камере, пока «Скиталец» скитался от звезды к звезде, а просыпался лишь на короткие мгновения возле планет, особенно интересных с точки зрения автоматике «Скитальца». Он вспомнил, что, пересекая галактику, посетил окрестности сотен тысяч звезд и лично исследовал пятьдесят две планеты, на которых автоматика заподозрила наличие жизни, — и нигде, ни на одной планете не обнаружил даже самых примитивных форм. Вселенная была нема, глуха и — мертва.

Ольм понимал, что он обследовал далеко не всю галактику, только ее часть, пусть и значительную; в других областях галактики скитались, подобно ему, еще четырнадцать «Скитальцев»; может, им больше повезло.

Миллионы лет назад ученые его родной планеты, прозондировав Ближний Космос в радиусе сотен световых лет и не обнаружив никаких следов не только мыс-

лящего, но и живого, пришли к неутешительному выводу, что галактика, очевидно, не столь уж густо населена, как полагали раньше, и что разумная жизнь в ней если и не единична, то, по крайней мере, весьма редкое и счастливое исключение. И тогда было решено забросить в разные уголки Дальнего Космоса пятнадцать практически бессмертных «Скитальцев» — без надежды возвращения на родную планету. За те миллионы лет, что минули со времени старта, пославшее их человечество давно уже должно было умереть своей естественной смертью, если только еще раньше не случилось никакой непредвиденной катастрофы — в масштабе ли человечества или в планетарно-звездном масштабе. Поэтому «Скитальцы» были посланы не как разведчики, не как орудия познания, а как своеобразные письма, адресованные какой-то другой цивилизации, которая рано или поздно встретится им в межзвездной пустыне. Чтобы узнала эта счастливая цивилизация, что она не одинока в галактике, что где-то в дальних далях, за бездной пространства-времени, по ту сторону галактического ядра существовала когда-то другая населенная планета, ее неведомая сестра, пославшая ей из прошлого в будущее свой привет.

«Скитальцы» призваны были наконец-то осуществить Контакт — розовую мечту человечества, ускользающую, недостижимую мечту. С древнейших времен, едва осознав себя гражданами вселенной, люди грезил встречи с подобными себе. Сколько легенд и песен, сколько книг и фильмов посвятило Контакту одинокое на своей планете человечество! Но проходили века, сменялись поколения, а Контакт оставался такой же розовой мечтой, как на заре прогресса. И тогда человек, уже не надеясь на взаимность, решил подарить Контакт другим цивилизациям. Должен же, черт возьми, хоть кто-то обитать в этом обширном звездном нагромождении!

Но долгие миллионы лет скитаний убедили Ольма,

что даже самые сдержанные прикидки ученых оказались чересчур оптимистичными. Он уже не надеялся встретить когда-либо носителей разума, а если продолжал выполнение программы, то лишь потому, что у него не было иного выхода: если бы ему и удалось найти дорогу назад, если бы и хватило времени вернуться на родную планету, он знал — и там не обнаружится никаких признаков жизни.

Вот почему так много значила для него эта возникшая среди звезд мелодия. Она перевернула все его существо, все мировосприятие, уже тронутое пессимизмом межзвездного одиночества, — и даже его, не умеющего слушать музыку, заставила таять, как тает ледок в первый теплый весенний день после непомерно затянувшейся зимы.

2

У звезды были четыре небольшие планеты, сигналы исходили от второй, самой крупной из них. Ольм уже различал ее пышную атмосферу, а спектрограф «Скитальца» обнаружил в составе газовой оболочки и воду, и кислород, и азот, и углекислоту. Уже просматривались на экране локатора очертания материков незнакомой планеты, на которых наметанный глаз астронавта скорее угадал, чем различил, прямые линии каналов, характерные пятна городов и спутанные нити дорог. Правда, радиодфон на планете почему-то отсутствовал. Больше того, музыка и писк слышались отлично, пока антенны «Скитальца» работали в режиме самонаведения, но стоило направить их поточнее на цель, как музыка терялась во все, а писк едва-едва прослушивался. Если бы планета имела спутник, это было бы понятно, но приборы «Скитальца» не зафиксировали никакого спутника. Создавалось впечатление, что сигналы идут не с планеты, а откуда-то из-за ее спины, из черноты вселенной. Однако

эти обстоятельства не встревожили Ольма, он знал: ни одна цивилизация не может быть в точности похожа на другую, так что за дело до частных, если столько других обнадеживающих примет перед глазами!

Ольму не терпелось поскорее покинуть рубку. Сколько раз уже высаживался он на неведомые камни и кратеры, и никогда так не волновался. Да и как не волноваться: предстоял первый в истории галактики Контакт разумных существ разных формаций. И разрезать ленточку межзвездных связей выпало ему, именно ему! Он уже подыскивал слова, какие-то особенные, весомые слова, которые он скажет при встрече этим существам, непохожим на людей и все же людям, слова, выражающие и радость, и достоинство, и высокую честь представлять здесь человечество его планеты.

Наконец «Скиталец» вышел на привычную эллиптическую орбиту, Олимп торопливо втиснул себя в планетарный скафандр и в нужной точке покинул рубку, как покидал ее уже много-много раз.

Вне «Скитальца» он был похож на огромную черепаху с непробиваемым панцирем, в который втягивались при нужде и манипуляторы, заменявшие ему руки, и три пары «ног» с шаровыми колесами на концах, и кургузые крылья, необходимые при движении в атмосфере. В любых условиях, на любой планете он чувствовал себя в этом скафандре удобно и ловко, а гравитационные двигатели позволяли свободно перемещаться как между «Скитальцем» и планетой, так и по ее поверхности. Вероятно, он выглядел не очень-то привлекательно, но до сих пор на него некому было смотреть. И только теперь, опускаясь на эту долгожданную, благословенную планету, Олимп подумал с тревогой: какое-то впечатление произведет здесь его внешность?

Делая виток за витком и постепенно снижаясь, Олимп все больше убеждался, что планета не только обитаема, но и населена могущественной высокотехнической расой.

Мелькнула в разрыве облачного слоя плотина, запрудившая реку... Пролив между двумя морями, слишком прямой и узкий для естественного... Развалины какого-то старинного храма... Впрочем, такие причудливые образования он встречал и на других планетах, это могли быть просто выветренные скалы... А вот это уж явно дело рук человеческих: что-то металлическое, ячеистое, сверкающее на солнце...

Увлечшись наблюдениями, Ольм вовсе перестал следить за окружающим его околопланетным пространством и хватился лишь в тот момент, когда в скафандр ворвались вдруг необычайно громкие сигналы — тот же писк, но уже не пронзительно-жалостный, а грохочущий, угрожающий.

Все произошло мгновенно. Ольм глянул вверх — на него неслось что-то гигантское, заслоняющее собой полнеба, что-то расчлененное, уродливое, бесформенное, как разросшаяся колония бактерий. Катастрофа казалась неминуемой, и тогда Ольм отшвырнул себя прочь, как бы оттолкнувшись от уродины, и двигатели планетоскафандра в точности повторили это его движение. Гравитационные силы на миг сплющили его, раздавили, превратили в плоскость, а потом он снова поймал себя, беспорядочно кувыркающегося в верхних слоях атмосферы, и вовремя, потому что температура в скафандре начала стремительно повышаться. Он выровнял полет и, опасаясь за исправность систем скафандра после такого толчка, очень скоро приземлился в том самом месте, где еще раньше приметил какое-то блестящее металлическое сооружение.

Под ногами была достаточно ровная площадка. Видимость оказалась никудышной — только что хлынул проливной дождь. Отыскав за стеной падающей с неба воды свой ориентир, Ольм прежде всего проверил все системы планетоскафандра, нашел их в полном порядке и вздохнул с облегчением. Теперь он мог вздохнуть с об-

легчением: катастрофа миновала, не причинив никакого вреда, если не считать легкого испуга, зато кое-что объяснила ему. Он обнаружил то самое, что издавало сигналы «из-за спины» планеты, — что бы это ни было: орбитальный радиомаяк, искусственный спутник, приставший к планете чужой космический корабль или даже некое живое существо, обитающее на краю атмосферы. А что, очень даже возможно — гигантская крылатая гидра, талантливая тварь, объясняющаяся с товарками при помощи симфонической музыки. Он показался ей мошкой, и она хотела его склюнуть...

Но так или иначе, он еще доберется до этой едва не погубившей его «музыкальной шкатулки», а пока он был на планете, и где-то рядом, совсем рядом находились люди, встречи с которыми миллионы лет ждала умеющая ждать вселенная.

3

Это было величественное сооружение из серебристо-белого металла, напоминавшее не то схему атома, не то решетку кристалла — в несколько километров диаметром. Исполинские матово отсвечивающие шары и эллипсоиды соединялись длинными трубами, вероятно, переходами, если только этот архитектурный колосс не представлял собой нечто чисто декоративное. Гармоничность, даже изощренность сооружения поразила Ольма, хотя дальние детали едва угадывались за пеленой дождя. Вблизи же это был урод, неимоверное и бессмысленное нагромождение переходящих одна в другую матово-серебристых сфер.

Все подступы к атомиуму, как назвал его астронавт, заросли кустарником, входа нигде не было видно, и Ольм, несколько раз объехав причудливое сооружение и посигналив на всякий случай, решил уже, что здание не-

обитаемо и ему лучше поискать людей где-нибудь в другом месте, как вдруг обнаружил на одной из труб у самой земли небольшой с рваными краями пролом. Ольм кое-как протиснулся в него и огляделся. Наверх вела лестница, но ступени ее тут и там обвалились, а те, что еще не рухнули, превращались в прах, стоило до них дотронуться, невредим оставался лишь каркас лестницы, выполненный из того же белого металла. К счастью, Ольм не нуждался в лестницах, он легко подкинул себя вверх и очутился у входа в одно из помещений, выглядевшее снаружи шаром.

Когда-то это был зал, сплошь уставленный столами-пультами с какими-то сложными приборами за стеклом. Но теперь — словно стадо диких и свирепых зверей буйствовало здесь — все было разбито, искромсано, исковеркано. Из пола торчали изогнутые и скрученные металлические ножки пультов, между ними валялись обломки пластмассы, осколки стекла, сложной конфигурации желтые детали, серебристые стрелки и шкалы приборов, рукояти, приводы и шестерни. И все, что не было сделано из серебристого металла, при малейшем прикосновении превращалось в пыль.

Всюду бросались в глаза, скрипели под ногами, выкатывались из куч хлама обломки непонятного назначения черных цилиндров чуть потолще карандаша. Они тоже, как и белый металл, выдержали испытание временем. И хотя стальные манипуляторы Ольма едва переломили эту блестящую черную штучку — ни одного цилиндрика не попадалось целого, только осколки. Видно, пришлось-таки здесь попытаться кому-то.

И не только цилиндрики — внутренние стены зала, металлические детали, уцелевшие кое-где в поваленных пультах осколки стекла — все носило следы намеренного варварского уничтожения: вмятины от ударов тупыми предметами.

То же кошмарное зрелище предстало перед Ольмом

и в десятках других залов, которые он посетил. Те же последствия буйства разъяренных зверей, те же сохранившиеся металлические части и то же изобилие осколков черных цилиндриков. Только в одном из самых верхних залов, пострадавших чуть меньше других, ему удалось подобрать три случайно уцелевших цилиндрика.

Обследуя атомиум, он обнаружил когда-то действовавшие лифты, системы отопления, освещения, кондиционирования воздуха и еще с десятков каких-то сложных приспособлений — все это было намеренно и неумело разрушено. Что ж, сомневаться не приходилось: атомиум предназначался для жизни, но вот уже тысячи, если не десятки тысяч лет после погрома сюда не проникало живое существо.

Уже собираясь покинуть это растерзанное святилище, чтобы поискать людей в городах, которые он видел с орбиты, Ольм совершенно случайно наткнулся на не замеченную прежде любопытную деталь. Над входом в одно из помещений просматривался какой-то узор... что-то щемяще знакомое... и чрезвычайно важное. Только сосредоточив все свое внимание, Ольм понял, что это остатки витража из разноцветных стекол, на котором было изображено разумное существо планеты.

Торопливо он заметался от зала к залу, рассматривая узоры над входами, и везде угадывался новый рисунок. новый, но абсолютно неразборчивый, пока не удалось отыскать один более-менее сохранившийся от погрома витраж. Сквозь сетку трещин и выпавших стекол выжидающе смотрел на Ольма человек, очень похожий на людей его планеты. Юный, физически совершенный, с мимолетной думой на челе, он срывал с дерева румяные плоды, папоминавшие яблоки.

Ольм еще раз обошел все разрушенные витражи, и на всех просматривался человек за каким-нибудь занятием: то он держал в руках молот, то кисть, то старинный лук, то маленькое пушистое животное, то непонят-

ного назначения прибор. А на одном из витражей астронавт различил контуры прекрасной юной женщины с прильнувшим к ее груди младенцем. И поскольку рисунок ни разу не повторился, Ольм пришел к заключению, что, очевидно, атомиум представлял собой хранилище знаний, своеобразную библиотеку, каждый зал которой был посвящен определенной отрасли знаний или определенной области деятельности человечества этой загадочной планеты.

Итак, атомиум следовало бы именовать скорее Информаторием — если только предположения астронавта окажутся верными. Насмешка судьбы: Информаторий, где ничего невозможно узнать! Но что же все-таки произошло здесь? Почему люди покинули возведенный ими храм? Уж не привел ли извилистый путь развития цивилизации к парадоксальному итогу: знания — табу, библиотека — проклятое место, и да будет навеки проклят каждый, осмелившийся переступить этот порог? Невежливо! Но чем иначе объяснить, что за столько лет руки тех, кто строил города и прокладывал каналы, не коснулись Информатория? Однако не стоит гадать, если можно спросить...

И Ольм, покинув Информаторий, опустился среди ближайшего города. Жесточайшее разочарование ждало его здесь: город оказался мертв. Он не был разрушен намеренно, он стоял цел и невредим, если не считать следов постепенного воздействия времени и сил природы, но стоило коснуться камня, металла, стекла — все обращалось в прах.

Астронавт перенесся в другой город, на другой материк — та же унылая картина. Только море, вечно живое море размеренно и методично несло свои волны на берег.

Мертвая планета. Планета-кладбище...

Но Ольм еще сохранил крохотный проблеск надеж-

ды: на орбите его ждало нечто, подававшее явные признаки жизни. Не там ли сохранились остатки этого нелепо погибшего человечества?

4

Если бы Ольм умел не верить своим глазам — он не поверил бы им. На фоне черного бархатистого неба, сверкающий красноватыми бликами в лучах заходящего солнца, медленно, величественно наплывал на него... все тот же Информаторий. Здесь, в космосе, он казался еще легче, еще совершенней. И это создание человеческого гения, этот эталон прекрасного он принял, едва не столкнувшись с ним на орбите, за бесформенное чудовище!

Только теперь астронавт по-настоящему оценил архитектурный замысел Информатория. Да, шары, эллипсоиды и соединительные трубы казались гигантскими, подавляющими, гипертрофированными, разрушающими цельное впечатление, — если смотреть на них вблизи. Но если взглянуть издали, со стороны, выбрав правильную точку, — конструкция поражала законченностью, совершенством форм, необходимостью каждой детали.

«Не таково ли и Знание? — думал Ольм, не в силах оторвать взгляд от Информатория. — Его отрасли кажутся ненужно раздутыми, обособленными, не связанными между собой, его конструкция напоминает стихийно разросшуюся колонию бактерий. Но стоит найти точку, определить перспективу... Впрочем, не так-то просто охватить единым взглядом Науку. Скорее всего, столкнувшись с нею вплотную, любой непосвященный поступит так же, как поступил я, — в страхе ринется прочь. И ведь по мере накопления знаний, неизбежно ведущего к все более и более узкой специализации, когда даже крупные ученые, работающие в смежных отраслях, перестают понимать друг друга, таких «непосвященных»,

не умеющих схватить перспективу развития Науки, становится все больше. Так что архитектурный символ Информатория — вовсе не выдумка. К сожалению».

На этот раз они сблизились плавно и вполне дружелюбно. Ольм несколько раз облетел сверкающую конструкцию, разыскивая вход. Разумеется, никакого входа не обнаружилось. Вдруг на одном из центральных эллипсоидов вспыхнул зеленый свет, замигал, призывая. Ольм двинулся вперед — и перед ним раскрылся люк.

«Встречают, — обрадовался астронавт. — Значит, они действительно здесь!»

Выждав положенное время в переходном тамбуре и вспомнив заготовленные слова приветствия, Ольм шагнул в гостеприимно распахнувшуюся дверь. Его никто не встретил. Обескураженный, он растерянно огляделся и пошел дальше. Все здесь было знакомо, все привычно, только потолки излучали мягкий свет да бесшумно работали лифты и эскалаторы. Но так же, как и там, на планете, здесь не было никого. Ни единого живого существа. Лишь теперь Ольм окончательно осознал, что встреча, к которой он готовился, которой втайне гордился, никогда не состоится. Человечество, построившее Информатории, просто-напросто не дождалось его.

Это был весьма грустный вывод. И тем не менее Ольм обязан был довести свою миссию до конца.

Медленно, как в трауре, обошел он зал за залом. Удивительно: никаких повреждений, все работает, все блестит, словно только вчера здесь смеялись и разговаривали люди, — но пол, как и там, завален осколками черных цилиндриков. И опять — ни одного целого. Те, кто громил этот Информаторий, действовали вполне квалифицированно, они ломали только цилиндрики, стало быть, знали, в чем заключается зло. Какое? Неужели все-таки... знания?

Он тщательно перерыл все осколки и обнаружил еще два уцелевших цилиндрика. Теперь их было пять, пред-

стояло попробовать прочесть, что на них записано. Он отыскал зал без витража — резервный, где, очевидно, предполагалось записывать дальнейшую историю планеты. Не без труда втиснулся в кресло у одного из пультов, приподнял крышку. Внутри свободно двигалась пластмассовая лента-кассета с вложенными в нее совершенно прозрачными цилиндриками. Ольм вручную прогнал ленту назад, пока не показались пустые гнезда. Так и есть — последний оставшийся цилиндрок оказался наполовину черным!

Полчаса ушло на изучение нехитрого механизма. Ольм вставил в ленту свои цилиндрики, сначала три, найденные на планете, затем два с Информатория-спутника и, наконец, этот, последний, захлопнул крышку, привел стрелки приборов в среднее положение и нажал клавишу включения. Что-то дрогнуло, зашуршало — и он перенесся в другой мир, который он видел теперь так же ясно и отчетливо, как если бы сам находился в нем.

...Смуглые прокаленные солнцем матросы в белых штанах бросились на рей. Короткие узловатые пальцы раздирали тугие веревочные петли, блеснул пущенный в ход клинок. Парусник бросало с волны на волну, вода перекатывалась через палубу, вдали, на горизонте, вздымались и опускались островерхие заснеженные горы, таинственные, как мираж.

Два человека на капитанском мостике пустились в пляс, восторженно размахивая руками и крича хрипло: «Земля! Земля!» Но третий, капитан, — его отличал колючий взгляд и подзорная труба в руках — не разделял их радости.

Паруса постепенно опадали, но ветер по-прежнему нес корабль к берегу. И вдруг перед глазами из разверзнувшегося моря вырос ощеренный зуб утеса. Ужасающий треск заглушил человеческие вопли. Все захлестнуло волной.

В следующее мгновение из воды показалась чья-то голова — и скрылась в пучине...

Ольм тронул клавишу переключателя.

...Немолодой человек со вздернутым носом и большим шишковатым лбом, смущаясь, всходил на алый пьедестал славы. Он останавливался чуть ли не на каждой ступени, словно не решаясь и раздумывая, а вокруг ликовала многотысячная толпа.

Но вот он наверху. Две прекраснейшие девушки увенчали его некрасивую голову венком из алых цветов. Сотни алых капель вместе с криками «Слава, слава, слава!» упали к его ногам.

Юноша с властным взглядом, смотревший в окно из-за портьеры, сказал, ни к кому не обращаясь: «Мы согласны посмотреть его изобретение завтра утром».

Бешеные кони, вздымая пыль копытами, разогнали по полю легкую повозку. Наверху ее показался тот, шишколобый. Его руки с узловатыми пальцами намертво вцепились в короткие широкие крылья. Человек оттолкнулся от повозки — и взлетел.

Некоторое время он парил в воздухе, как большая неуклюжая птица, а потом приземлился, пробежал по земле, выронил крылья и провел рукой по мокрому шишковатому лбу.

«Ничто тяжелее воздуха не может летать, — мрачно сказал юноша с властным взглядом. — Поэтому... во имя Единой и Непротиворечивой Науки... Вы меня поняли?»

Его поняли. Воздухоплаватель стоял, связанный, на высокой поленице. Алыми цветами расцветало вокруг пламя. Беснующаяся толпа сыдала проклятия...

Переключения. Какие-то формулы, формулы...

«Наука, — подумал Ольм, останавливая пульт. — Единая и Непротиворечивая Наука, пережившая своих творцов и никому не нужная теперь. Да, тяжек путь познания, тяжек и крут. Но как похожи на нас люди! И как похожа история! По крайней мере пока».

Волнуясь, он прошелся по залу. Итак, дальше.

...В тени деревьев разместилась на пикник веселая компания. Хрупкие юноши и девушки, резвясь, как дети, гонялись друг за другом, перекидывались мячом, суматошно хлопотали у костра. Это были представители совсем другого времени: изнеженные тела, удлиненные конечности, плавные, лишенные энергии движения. Сходство с коренастыми предками осталось едва уловимое.

В разгар веселья по лицам всех пробежала тень. Глаза стали тупыми, бессмысленными, на губах застыла беспомощная улыбка. Они сгрудились у костра.

«Поджарить мясо? Что значит поджарить?» — «На костре?!» — «Что вы — мясо на костре! Оно сгорит». — «Но ведь надо как-то поджарить мясо». — «А разве мясо жарят?» — «Как! Ты и этого не помнишь?!» — «Ха, помнить! Зачем загромождать голову?» — «Да бросьте вы спорить, войдите в Центр!»

Один из юношей приложил к уху небольшой ящичек, набрал какой-то шифр.

Величественный, сверкающий на солнце, предстал перед ними бастион знаний — планетный Информаторий.

Несоразмерно длинные пальцы принялись неумело насаживать на палочку кусочки мяса, водружать палочки над угольями.

...На улицы города, на площади, в скверы и переулки выплеснулась толпа длинноволосых, грязных, наряженных в изысканные лохмотья юнцов. Кривляющиеся рожи. Приплясывающие ноги. Вэдымающиеся кулаки.

«К черту знания!» — орали перекошенные рты.

«Школа — пожизненная тюрьма!» — орали другие.

«Только идиоты могут до старости сидеть за партой!» — орали третьи.

«Не в науке счастье!» — вопила полураздетая девочка, подкинутая над толпой руками юнцов.

«До-лой, до-лой!» — скандировала толпа.

Изнеженные пальцы, обрывая ногти, выковыривали камни из мостовой. Толпа с угрожающе поднятыми камнями устремилась к зданию, в окне которого мелькнуло белое лицо пожилого человека с высоким лбом и умными, бесконечно грустными глазами.

Как это просто: положить наклонно один цилиндрик поперек другого, ударить булыжиной и — хрусь! Тупо, сосредоточенно, молчаливо — на площадях, в зданиях, на цветочных клумбах — молодые и не очень молодые — сидели прямо на земле, орудовали булыжинами. По всей планете только и слышалось: хрусь, хрусь, хрусь...

Ольм с трудом оторвался от жуткого видения. «Так вот как это было. Не война, не эпидемия, не голод, не перенаселение, не отравление биосферы отходами промышленности, не истощение энергетических ресурсов — перепроизводство знаний! Информационный кризис. А все началось с пустяков. Не знали, как поджарить шашлык, пустить станок, посадить дерево. Зачем помнить, когда есть Информаторий? Но неужели Знание, если его не в состоянии освоить за свою короткую жизнь отдельный индивидуум, способно стать убийцей общества?!»

Ольм включил последний цилиндрик, заполненный только наполовину.

...Перед ним предстали развалины города, лачуга, пристроенная к стене дворца, человечесье гнездо на дереве. Тупые, жалкие, покрытые язвами безволосые обезьяны, сутулясь, бродили по площадям, переворачивали камни, выковыривали из-под них тонкими изящными пальцами каких-то насекомых и жадно поедали...

Все. Пульт остановился.

«Странно, — подумал Ольм. — Этот последний цилиндрик... Кто произвел запись через сотни лет после катастрофы? И кто уничтожил цилиндрики знаний на эталонном, гарантированном от всяких случайностей Ин-

форматории-спутнике? Неужели сами обиженные интеллектуалы? Впрочем, все это частности...

Ну что ж, Ольм, вот и свершился твой Контакт! Первый в истории галактики Контакт. Первый и, вероятно, последний. Но не с людьми — с тенями давно погибших людей. С тенью канувшего в Лету человечества».

Уходя, он хотел забрать цилиндрики, но махнул рукой и не взял ничего.

* * *

Никогда еще, возвратясь к себе на «Скиталец», не испытывал он такого гнетущего, опустошающего разочарования и такой миллионлетней усталости. Впервые пришла ему поразительно жестокая мысль: «Тебе ли, Ольм, жалеть о несостоявшемся Контакте? Тебе ли, если ты сам — тоже всего лишь тень? Жалкая, прекрасно запрограммированная тень человечества, давно сошедшего со сцены. А теням не нужен Контакт».

Он одним ударом кулака вдребезги разбил систему автоматического пробуждения и, нажав красную кнопку, мгновенно погрузил себя в небытие, которое прежде считал сном. «Скиталец-12» отправился дальше в нескончаемое путешествие от звезды к звезде.

6

Это произошло примерно в то же время, когда по другую сторону галактического ядра другой автомат той же серии, «Скиталец-3», услышал другую мелодию, обнаружил другую населенную планету и, расшифровав первые перехваченные сигналы, воскликнул, еще не до конца веря в удачу: «Они называют себя Земля!»

опрокинутый мир



Бурьянов еще раз просмотрел свои расчеты — двенадцать страниц, мелко исписанных цифрами и формулами. Это было похоже на полосу препятствий, когда впервые выходишь на старт и каждый барьер, каждая канава таит неожиданности и каверзы. Но ошибки не обнаружилось. Этап за этапом неумолимо вел к финишу, от которого у любого здравомыслящего человека волосы встали бы дыбом. «К счастью, — подумал Бурьянов, — пока освоишься в этих дебрях, волос уже не остается. Или почти не остается. Иначе физиков и математиков двадцатого века узнавали бы по вздыбленной шевелюре. А ведь у Дау волосы и в самом деле торчали вверх. И у Эйнштейна тоже».

Итог вычислений никак не устраивал Бурьянова. От такого итога рукой подать до чертовщины, до ведьм и вурдалаков. Хоть на голову становись, лишь бы что-то понять. Вот и апеллируй после этого к точнейшей из наук!

Впрочем... Впрочем, история знает десятки случаев, когда «сумасшедшая» математическая идея оборачивалась непреложной истиной. Взять хотя бы старика Эвклида. Два тысячелетия никто не мог обосновать его пятый постулат о параллельных линиях, и сотни тщетных попыток доказательства скапливались в архивах математических курьезов, пока молодой, еще никому не ведомый профессор из Казани не пришел к дерзкой мысли: сконструировать некую новую геометрию на допущении, что пятый постулат Эвклида неверен, и самой абсурдностью этой геометрии «от противного» доказать истинность постулата. Вот тут-то он и убедился, что доказать Эвклидов постулат невозможно. Вероятно, в первую минуту Лобачевский был ошарашен не меньше, чем сейчас он, Бурьянов... Или вспомнить, как изумился Поль Дирак, получив при извлечении квадратного корня элементарную частицу со знаком минус. Это казалось чистым безумием, пока через несколько лет не открыли

антиэлектрон — позитрон. А теперь это азы. Математика безжалостно логична. Она не просто язык науки, очевидно, она отражает объективную реальность мира, если столько физических открытий родилось на кончике пера математика. Что ж, тем хуже. Значит, если он нигде не ошибся, приходится допустить, что... Черт знает, что приходится допустить...

Выбираясь из неизбежного, беспощадного, безжалостного мира формул, из этих пугающих своей несуразностью дебрей, он вылез из-за стола и прильнул к стеклу вспотевшим лбом...

Там, за стеклом, было темно, как бывает темно в городе безлунной ночью. Потом рядом медленно проплыла, испуская крохотные искры, какая-то совсем земная рыбешка. Когда она скрылась из виду и растаял тянувшийся за нею голубоватый след в воде, Бурьянов заметил, что даль океана в иллюминаторе слабо светится. Вероятно, наверху начинался рассвет. Или просто фосфоресцировал океан. Или собралась стая светящихся рыбок. Впрочем, что ему за дело до какого-то свечения — пора было возвращаться на Остров.

— Ваше благородие, не спите? — раздался в динамике голос Зинура. — Будьте так любезны, приблизьте к иллюминатору вашу глубокомысленную физиономию, и вы увидите зрелище, достойное ваших премудрых глаз.

— Вижу. Ну и что?

— Боже, какой снобизм! — возмутился у себя в рулевой рубке Зинур. — Светило науки, первый на Планете доктор — и такое пренебрежение прекрасным зрелищем, имя которому — тайна...

— Отстань.

— Нет, я серьезно. Чует сердце, там что-то забавное. Свернем на минутку?

— Следуй своим курсом и не виляй, как начинающий велосипедист. Мы не на прогулке.

— Слушаюсь, капитан! — бодро крикнул Зину́р, и в то же мгновение Бурьянов почувствовал, что «Сирена» меняет курс.

— Зину́р! Ты ведешь себя, как всадник в коннице Чингисхана.

— А вы, метр, ведете себя, как счетная машина. Как будильник, заведенный на без пятнадцати семь. Как робот, лишенный...

— Мальчики, умоляю вас, — сказала Светлана, океанолог. — Бурьянчик, это правда что-то забавное. Я бы не прочь выскочить на минутку, а?

Голос у нее был какой-то вялый, разморенный, все-таки жарко в наблюдательном отсеке, а в каюту ее не загонишь. Вот и сейчас лежит, наверное, как на пляже, сбросив вопреки инструкции комбинезон. Просто удивительно, что два тщедушных прожектора так нагревают камеру для наблюдателя. От одного только голоса Светланы его разморило.

— Давайте, давайте, ребята, — сказал он лениво. — Делайте что хотите. Можете распилить «Сирену» циркульной пилой. Можете выбить кирпичом иллюминаторы...

— Где же здесь найдешь кирпич? — резонно заметил Зину́р. — Уж не эти ли рыбешки наладили на Планете производство строительных материа...

Он осекся. Бурьянов безотчетно глянул в иллюминатор — и вздрогнул. Сквозь зеленоватую, чуть подсвеченную толщу воды на них медленно наплывала... пирамида. Самая настоящая, сложенная из гигантских камней.

— Мальчики, видите? — первой подала голос Светлана. — Или это галлюцинация?

— Клянусь аллахом, мы что-то открыли! — крикнул Зину́р.

— А кто недавно клялся аллахом, что Планета не обитаема?

— Ну, допустим, и ты не очень-то...

— Светочка, — сказал Бурьянов, — включи кинокамеру, уж покажем мы сегодня на Острове картину!

— Включила.

— Братцы, ура! Вот это повезло! А ведь могли пройти мимо и не заметить. Бурьян, пляши! — неистовствовал в рубке Зинур. — Даю полный.

— Смотри, не сшиби пирамиду.

— Не бойся, я хоть и потомок Чингисхана, однако же не разрушитель цивилизаций.

Зинур был, в общем, парень ничего, надо отдать ему должное, но Бурьянов все-таки чуточку недолюбливал его: уж слишком избалован. Да еще, может быть, из-за Светланы, хотя в этом Бурьянов не рискнул бы признаться даже самому себе. Прежде он как-то и не замечал Зинура, знал, что есть такой инженер, насмешник и задира, только и всего. Но за несколько вылазок на «Сирене», маленькой подводной лодке для исследования Океана, они сдружились. Дружба их проявлялась весьма своеобразно: Зинур постоянно подтрунивал над Бурьяновым, а Бурьянов этого не переносил, раздражался, но терпел, как, наверное, и все остальные терпели штучки Зинура.

Зинур был одним из тех, кто участвовал в Первой экспедиции.

Они открыли планету, сплошь покрытую океаном, и сфотографировали косяки рыбок в нем. Они обнаружили единственный на планете островок, пригодный для базы, благодаря чему в короткий срок была организована Вторая экспедиция. И они предложили назвать эту первую чужую планету просто Планетой, океан — просто Океаном, а остров — просто Островом, и это всем показалось разумно и красиво.

И вот Зинур — участник Второй экспедиции, а лавры все еще не спали с его головы. Не мудрено, что ему прощается многое из того, чего не простили бы никому другому. Подтрунивание над уважаемыми людьми. Экспери-

менты с действующей техникой. И даже нескрываемое ухаживание за Светланой, одной из трех в экспедиции женщин.

Зато Светлана если и была по-настоящему влюблена, то, конечно, не в Зинура, а в Океан. Только под водой, на «Сирене», чувствовала она себя в своей стихии. База — космический корабль на Острове — была для нее чем-то вроде дома отдыха, где она скучала без настоящей работы. И все-таки Бурьянову не нравилось ее отношение к Зинуру. Подумаешь, участник Первой экспедиции! Просто повезло...

А теперь, кажется, повезло им всем. И если эта пирамида — действительно пирамида, а не причудливая подводная скала и не оптический обман, будет совсем здорово. Тогда премудрые рассуждения ученых на Земле о том, что разумная жизнь во Вселенной — редкость, полетят в преисподнюю, потому что теорию вероятностей, на которую они так любят ссылаться, им не обойти, а пирамида, найденная на первой же планете, опрокинет все их вероятностные расчеты.

В каюте стало темно — «Сирена» вошла в тень пирамиды, заслонявшей теперь весь горизонт.

— Братцы, — сказал Зинур совсем другим, несвойственным ему тоном. — А вы не подумали? Когда-то здесь был материк.

— Бурьянчик, уж ты не сердись, — услышался голос Светланы. — Как хочешь, а я должна выскочить.

— Насколько я знаю, Светочка, ты океанолог. А тут что-то вроде пирамиды. Так что выскочить придется мне.

Она вздохнула, смолчала. И вдруг влетела в каюту.

— Ну, Бурьянчик, миленький, ну что тебе стоит? Я всего на минутку.

— Ты же знаешь, девятый пункт инструкции строго настрого...

— Ну хочешь, поцелую?

— Поцеловать, конечно, можешь, но...

Она поцеловала его. Зинур у себя в рубке невозмутимо насвистывал, словно и не слышал ничего. Бурьянов представил его кислую физиономию — и смягчился.

— Ладно, идем вместе.

«Вот она, моя счастливая звезда! — думал Бурьянов, торопливо влезая в скафандр для подводных прогулок. — Это же надо, вся жизнь — такая нелепость, что нарочно не придумаешь, сплошное торжество случайного и посрамление вероятного, а каков итог! Спасибо старику Куцеву, если бы не он...»

Когда набирали экипаж для Второй экспедиции на Планету, Бурьянова включили в список кандидатов. Талантливый математик и физик-теоретик, человек сравнительно молодой, здоровяк, спортсмен, как говорится, по всем статьям. Сначала он обрадовался, даже возгордился, о такой работе можно было только мечтать. Но чем ближе к старту, тем больше начал призадумываться, а войдя в кабинет академика Куцева, которому принадлежало последнее слово, сказал прямо:

— Позвольте поблагодарить за доверие, но... принять участие в экспедиции я не смогу.

Старик Куцев удивился.

— Не сможете? Это почему же?

— Не хочу, чтоб из-за меня экспедиция попала в какую-нибудь скверную историю. Надо мной тяготеет рок.

И Бурьянов поведал грустную историю своей жизни.

— Начать с того, что я — это вовсе не я, не Бурьянов. Кто? А черт его знает кто, во всяком случае, не я. Лет до десяти я был уверен, что я — это я. Но уже тогда заметил, что мать поглядывает на меня с тревогой, а отец — и вовсе как на пустое место. Дело в том, что в родильном доме меня подменили.

...Когда мать впервые принесла его домой и развер-

нула, чтобы перепеленать, она тихонько вскрикнула и упала без чувств. Отец перепугался: в чем дело?

— Знаешь, Петя... страшно сказать, — едва оправившись от шока, прошептала мать, — это не наш Петька. Это чужой.

— То есть как чужой?!

— Точно. Теперь я абсолютно уверена. У нашего вот здесь, на ручке, было родимое пятно, я еще подумала, некрасиво, на самом видном месте... — И она разрыдалась.

Наскоро запеленав чужого ребенка, они помчались обратно в родильный дом, но та, другая, женщина, которой достался настоящий Бурьянов, уже выписалась и куда-то уехала, найти ее так и не удалось.

Если рассматривать это происшествие с чисто научной точки зрения, есть, наверное, какая-то крохотная вероятность перепутать младенца в родильном доме, но она столь мала, что практически ею можно вовсе пренебречь. И надо же, чтоб перепутали именно его! Этот факт наложил отпечаток на всю дальнейшую жизнь Пети, а позднее Петра Петровича Бурьянова, или кто он там есть на самом деле.

Еще не научившись говорить, маленький Петя начал считать. Он считал все, что попадалось на глаза: людей, игрушки, окна в домах, мух на потолке и собственные шаги. Мать перепугалась, понесла его к психиатру, и кончилось тем, что его чуть не год демонстрировали как некий математический феномен на разных ученых собраниях, пока не признали вполне нормальным ребенком.

В школе он постоянно терял авторучки, носовые платки и калоши. Учителя часто ошибались, выставляя двойки в журнале против фамилии Бурьянова, хотя зарабатывал их его товарищ Буранов, зато Петины пятерки и четверки почему-то попадали к Буранову. Этот Буранов так полюбил Бурьянова, что однажды сломал ему ногу, уронив на крутом вираже с мотороллера.

Впрочем, нет возможности перечислить все злоключения его детства: один день был нелепее другого.

Из-за нерадивости Буранова кое-как закончив десятилетку на троечки, Петя успешно прошел конкурс в институт — институт немедленно закрыли. Поступил в другой — его расформировали. Поступил в третий — его разукрупнили и объединили. Чтобы не лишить город институтов, Петя стал учиться самостоятельно, на свой страх и риск, и через два года волей случая защитил диплом. Но как раз накануне вышло постановление об отмене экстерната.

Только раз в жизни ему по-настоящему повезло. Он подружился с девушкой, на которую поначалу и взглянуть не смел. У нее было романтическое тургеневское имя Ася. Петя совсем потерял голову, о взаимности даже не мечтал, думал, на него свалилось новое несчастье, самое страшное из всех, — неразделенная любовь, и вдруг очутился однажды за свадебным столом, а рядом во главе стола сидела под фатой его ненаглядная Ася.

И пока продолжался пир горой, пока хлопали пробки от шампанского и Ася мило смущалась при каждом крике «горько!», он ни разу не вспомнил о своей злосчастной судьбе, о том, что он — это вовсе не он, и ему даже в голову не пришло, что он сочетается законным браком с чужой невестой, невестой какого-то другого, настоящего Бурьянова. Он был счастлив и пьян от счастья, и все на свете было ему трын-трава.

Далеко за полночь они выпроводили наконец последних гостей, торопливо сбросали в раковину грязную посуду и, обнявшись, направились в спальню, полные любви и трепета. И тут... тут Бурьянову снова пришлось вспомнить о своей судьбине: она подсунула под туфельку его юной жены апельсинovou корочку. Ася поскользнулась и упала, сильно ударившись коленом об пол. Лицо ее было белее свадебного платья, нога не сгибалась.

Пришлось вызвать «скорую»: Ася уверяла, что слышала, как хрустнула коленная чашечка.

Больше он никогда не видел свою ненаглядную. Ни в одной больнице города ее не обнаружилось, а «скорая» клялась, что даже вызова такого не зарегистрировано.

Через неделю он получил от нее открытку без обратного адреса: «Уважаемый товарищ! Извините, что ввела вас в заблуждение, но мне нужен был штамп в паспорте, чтобы дать отчество и фамилию моему будущему ребенку, который появится на свет через три месяца. Обо мне не беспокойтесь, чувствую себя прекрасно, чашечку я не сломала, это нам показалось. Еще раз извините, если доставила вам беспокойство. С приветом, Ася».

Едва дочитав открытку, он распахнул дверь балкона и выбросился с пятого этажа. Внизу проходил грузовик с тюками ваты, вата приняла его в свои объятия и мягко перебрosiла на клумбу. Он очнулся среди цветов и долго не мог понять, жив ли он или уже мертв и лежит в украшенном цветами гробу, пока милая девушка в форме сержанта милиции, оштрафовавши его на три рубля за нарушение общественного порядка, окончательно не убедила Петра Петровича в том, что жизнь не захотела расстаться с ним. Испытывать судьбу прыжком с моста или стаканом кислоты он не стал, знал — будут одни только неприятности.

На работе Петра Петровича, в общем, ценили. Идеи из него сыпались одна другой несуразнее, и он не представлял, что из них делать, зато его сослуживцы, люди более практичные, некоторым из этих идей находили применение в своих диссертациях, а потом, вероятно, вовсе не смущались, расписываясь в ведомости на зарплату. А вот Петра Петровича всегда мучила совесть, когда он ставил фамилию Бурьянов против весьма

скромной цифры: ему казалось, он получает чужую, бурьяновскую зарплату и рано или поздно это обнаружится.

Но так или иначе, солнечным весенним днем, когда цвели вишни, он защитил докторскую диссертацию, одна из идей сгодилась-таки. Едва коллеги принялись поздравлять его, здание подскочило, раздался неимоверный треск, и все рухнуло. Бурьянов вылез из-под обломков весь в пыли и синяках и, травмированный скорее морально, чем физически, поплелся по направлению к дому, но дома тоже не оказалось на месте. Кстати, под обломками землетрясения погибли и диссертация, и официальные оппоненты, и степень доктора физико-математических наук.

Он переехал в Москву, за год подготовил новую диссертацию, совсем в другой отрасли, и на этот раз защитился совершенно благополучно, если не считать, что некий крупный деятель от науки печатно обвинил его в плагиате. Все было как полагается: скандальный фельетон, тяжба, суд. Однако через год судов и пересудов Петра Петровича оправдали, а его противнику вынесли общественное порицание, вследствие чего прекратила существование целая школа физиков и атмосфера в нашей науке стала еще чище...

Бурьянов закончил свой грустный рассказ. Старик Куцев, ни разу его не перебивший, расхохотался. Хотел он долго, с удовольствием, не торопясь и смакуя. Бурьянов уже собрался было обидеться, когда Куцев оборвал смех, утер слезы платком и стал снова серьезен.

— А ведь я, признаться, сомневался в вас, — сказал Куцев. — Да вы же интереснейший человек! Давайте рассуждать философски. Допустим, вас не подменили бы при рождении — и были бы вы сейчас не математиком, а, скажем, парикмахером, потому что способности, несомненно, являются следствием счастливого и во

многом случайного совпадения генетических признаков родителей. А разве можно променять науку на брадобрейство! Далее: судьба очень мудро распорядилась теми тремя институтами, куда вы поступали, чтобы вы стали не химиком, не журналистом, не востоковедом, а именно тем, кто вы есть. И она просто чудом, какими-то сверхизобретательными ухищрениями избавила вас от семьи, которая, согласитесь, нередко становится могилой для молодого ученого. Только подумайте, как бы вы совмещали интегралы с пленками! Случай спас вас от нелепейшего самоубийства и сохранил для науки. А легко ли было судьбе организовать именно в эту секунду точно у вас под балконом грузовик с ватой? Она, судьба, шла на любые жертвы ради вас. Она даже не поскупилась на землетрясение, лишь бы вам пришлось защищать вторую диссертацию, которая сделала вас настоящим большим ученым, а благодаря скандальной огласке еще и широко известным. Да, да, известным и своеобразным ученым! Таким образом, батенька мой, судьба к вам чрезвычайно благосклонна, вы удачливейший из людей, баловень судьбы. А вы говорите — «рок». Да это не рок, дорогой мой Петр Петрович, это ваша счастливая доля! И я буду категорически настаивать на вашем участии в экспедиции. Я не суеверен, но верую в удачу. И надеюсь, вы принесете удачу экспедиции.

Так старик Куцев уговорил его лететь на Планету, а вот разубедить — ни в чем не разубедил. Петр Петрович Бурьянов, доктор физико-математических наук, тридцати двух лет от роду, русский, по паспорту женатый, а фактически холостой, по-прежнему носил на плечах свою тяжкую ношу и не мог от нее избавиться. Ему казалось, жизнь его движется так, словно самое главное, определяющее ее событие где-то впереди, а все остальное, что уже произошло с ним, только следствия, которые судьба заранее расставила на его пути.

Но как истинный материалист Петр Петрович понимал, что так только кажется.

И вот пирамида. Если это не мираж и не скала, а настоящая пирамида, чем черт не шутит, он, наверное, и в самом деле поверит в свою счастливую долю.

Петр Петрович разволновался, руки плохо слушались его, но он все-таки справился со скафандром.

* * *

«Сирена» остановилась у подножия пирамиды. Теперь можно было убедиться, что эта уходящая вверх громадина, по крайней мере, в несколько раз больше знаменитой пирамиды Хеопса. Бурьянов проверил систему дыхания, поправил гребной винт за спиной. У крышки люка нетерпеливо переминалась Светлана, похожая в своем серебристом скафандре на располневшую русалку.

— Даю выход, — появился в шлемофоне голос Зинура.

— Давай, давай, — сказала Светлана. — А то Бурьяничик без конца будет возиться со скафандром. Пока, Зинура! Не скучай!

В тамбур хлынула вода, и они выплыли в Океан. Гигантской горой громоздилась рядом пирамида, ни направо, ни налево, ни вверх не видно было ей конца. Они приблизились к этой наклонной стене, и Бурьянов первым коснулся ее рукой. Темный, чуть ослизлый камень оказался грубым, если и обработанным, то едва-едва; впрочем, это равно успешно могла сделать и человеческая рука, и природа. Швов нигде не было.

— Фьюить! — присвистнула Светлана. — Никакой кладки. Это просто гора, Бурьяничик. Обычная гора.

Он промолчал, боясь даже перед собой сознаться в поражении, полплыл по стене вверх — и наткнулся шлемом на каменный выступ. Внизу скудно отсвечивал скафандр Светланы, она казалась маленькой, как

с высоты пятого этажа. Едва он открыл рот, она удивленно объявила:

— Бурьянчик, я стою на каком-то уступе. Что это, неужто кладка?

— Здесь тоже шов, — ответил он. — Но не может быть, чтобы разумное существо строило из таких «кирпичиков». Ничего себе «кирпичики», с пятиэтажный дом! А если это всего-навсего природные трещины?

Он поднялся еще немного и обнаружил правильной формы круглую дыру в камне. В нее свободно входила рука в перчатке. И внутри, и вокруг отверстия отчетливо выделялись желтоватые наплывы ржавчины. Такие дыры в камне делают для крюка, больше ни для чего. На том же уровне по обе стороны от Бурьянова виднелись еще два ржавых пятна. И тут его осенило:

— Это вовсе не затонувший материк, это материк еще не всплывший. Построить такую громадину из таких «кирпичиков» на суше невозможно, их не свернет с места ни одна сухопутная цивилизация. А вот под водой... Впрочем, завтра сюда примчится археолог, пусть разбирается.

Считая «кирпичики», они поплыли на север вдоль стены и минут через десять достигли ее конца. Зарево, которое привлекало их, стало сильнее. На его фоне стена пирамиды выглядела совсем черной. Завернув за выступ, они разом остановились. То место, откуда исходило свечение, оказалось... городом.

Причудливые дворцы и башенки, арки и купола, портики и акведуки, как бы размазанные толщей воды, медленно, величественно плыли в море невидимых течений, и над ними так же медленно колебалось сплошное мерцающее зарево. Но что-то странное, непривычное, мешающее глазу чувствовалось в этом отдаленном пейзаже. В следующий момент они глянули друг на друга, шлемы их мягко стукнулись, и, не говоря ни слова, Бурьянов и Светлана ринулись вперед.

Все дальнейшее было как сон. Бурьянов ни за что не поверил бы своим глазам, если бы время от времени не оглядывался на Светлану, не слышал в шлемофоне ее прерывистого дыхания и возгласов удивления.

Это был ни на что не похожий город, ни на что не похожий мир. Он был... перевернут. И накрыт сверху, то есть не сверху, а снизу, то есть для них, посторонних наблюдателей, сверху, а для жителей города снизу чем-то вроде толстого прозрачного стекла. Но этого чего-то вроде бы и не существовало, потому что его невозможно было пощупать, шлем о него не стучался и ноги не ощущали, однако проникнуть сквозь прозрачный потолок, вернее, пол опрокинутого города никак не удавалось. Там, под этой «основой», как про себя называл ее Бурьянов, не было воды. А впрочем, неизвестно, что там было. Все здания стояли на «основе», и двери зданий находились наверху, а вглубь уходили этажи, еще ниже виднелись крыши и трубы, и дым из труб шел вниз. По «основе» катили задом наперед автомобили и бойко пятились люди, похожие на земных, только очень уж хрупкие, — и все это в опрокинутом виде!

«Сумасшествие, — думалось Бурьянову, — сплошное сумасшествие. Это уж слишком, даже для меня».

Несколько раз они пробовали проникнуть в город, но невидимая преграда не пускала, и тогда они поплыли над «основой» вдоль улицы, стараясь как-то приноровиться к своему положению, потому что смотреть на перевернутое действие оказалось совсем не с руки. Поначалу Бурьянова смущал еще и тот факт, что женщины в коротких юбочках представляли перед ним в таком ракурсе, будто он лежал под прозрачным тротуаром, но когда Светлана, заметив его смущение, презрительно фыркнула, он побоялся показаться смешным — и вскоре новые впечатления отвлекли его от невольного созерцания дамских ножек.

На улице, над которой они плыли, начала сгущать-

ся толпа. Люди глазели на какие-то слабо дымящиеся обломки. Появились полицейские в форме, скрупулезно замерыли все вокруг, сфотографировали, что-то записали и укатили. По мере того, как обломки дымили сильнее, толпа редела и редела, пока не рассосалась во все. Тут повалил густой черный дым, обломки вспыхнули, пламя ослепило на мгновение — и разом исчезло в тот самый момент, когда из мешанины сплющенного металла бойко выпятились задним ходом два целехоньких автомобиля и преспокойно, как ни в чем не бывало, разъехались в разные стороны.

— Бурьянчик! — Он вздрогнул от неожиданности, услышав голос Светланы. — Двигаем обратно, а то кислород кончится. И вообще... с меня предостаточно.

— Еще минутку, Светочка, — пробормотал он просительно.

Он уже не пытался что-либо понять, осмыслить, объяснить, он только наблюдал, глотал впечатления, оставив переваривание «на потом». Больше часа плыли они над улицей, порой останавливались, смотрели, уже ничему не удивляясь, и плыли дальше. Назад повернули, когда кислород был на исходе, и едва успели добраться до «Сирены». Последние метры Светлана волокла его на буксире.

Он еще помнил, как Зинур вытаскивал его из скафандра, раздевал и прикладывал ко лбу мокрое полотенце. Потом Зинур преобразился в доктора с Базы, пожал плечами и сказал:

— Очевидно, нервное потрясение, осложненное кислородным голоданием.

Как сквозь сон слышал Петр Петрович чьи-то восторженные слова:

— Вчера там киногруппа работала. Вот это кино! Сейчас два часа смотрели — не оторвешься. Потом пустили пленку задом наперед, и представь себе — ничего особенного, почти как у нас...

Позднее Бурьянов записал по памяти свои наблюдения. Вот выдержки из этих записей.

«В опрокинутом городе все не как у людей, все наоборот, и сначала это не укладывается в голове, но постепенно привыкаешь, мозги начинают «крутиться» как бы в обратную сторону, и тогда возможно проследить причинно-следственную связь явлений.

Здесь ходят и ездят вверх ногами и задом наперед. Автомобили сначала разбиваются, потом сталкиваются, потом разъезжаются целыми и невредимыми. Когда человеку надо куда-то ехать, он выходит из автомобиля. В одной конторе был день получки, люди расписывались в ведомости и радостно отдавали свои деньги кассиру. Кстати, пишут они так: водят ручкой по бумаге, и ранее написанный текст влезает обратно в ручку. Ручки шариковые и не требуют зарядки; когда набирается полный баллон, ручка выбрасывается. На станкостроительный завод поступают новенькие станки, отправляют же с завода уголь, стружку и заготовки. Женщины приносят в родильный дом крохотных младенцев, а оттуда выходят уже без них, причем обряд этот сопровождается слезами и трауром, как прощание с жизнью. И наоборот, мы наблюдали похоронную процессию, когда люди шли за гробом сияющие, пели и плясали от радости, будто на свет появился новый человек. Большинство самых совершенных зданий разрушено, в них видны остовы каких-то чрезвычайно сложных машин, назначение которых современным жителям «опрокинутого мира» непонятно.

Объяснить это можно лишь одним: время здесь течет вспять. Люди умирают, чтобы жить, постепенно молодеют, впадают в детство и затем, рождаясь, навсегда уходят из жизни. И цивилизация эта «обратная», прогресс тоже движется вспять. Все это, разумеется,

только с нашей точки зрения, для них самих время идет вроде бы нормально. Больше того, невозможно даже определить наверняка, у кого обратное движение времени: у нас или у них. Как это сообразуется с наукой? Думаю, думаю...»

Думать он мог сколько угодно, ему никто не мешал, лишь два-три раза в день навещался доктор. Но постепенно Петр Петрович начал догадываться, что его считают сумасшедшим. Да он и сам чувствовал что-то неладное: реальный мир перестал его интересовать, он словно остался в том, «опрокинутом мире», жил в нем и занят был исключительно тем, что искал ему объяснение. Он знал, что корабль готовится к возвращению на Землю, что экипаж полон впечатлений, что Светлана замкнулась в себе и молчит часами. Но главное, он знал, что впереди у него три спокойных года, можно вволю размышлять, взвешивать, сопоставлять и ежедневно записывать мысли, подкрепляющие его гипотезу. Теория «опрокинутого мира» постепенно набиралась сил.

Рассуждал он примерно так. Отрицательный вектор времени возможен только в мире, обратном нашему, где причина становится следствием, а следствие причиной. Стало быть, всякое действие вызывает не трату энергии, а ее приобретение; при понижении температуры тела энергия его увеличивается; то есть вопреки второму закону термодинамики энтропия не возрастает, а уменьшается. Это возможно лишь в том случае, когда отсчет температур ведется от абсолютного нуля, от минус 273 градусов, но в противоположном направлении. Фигурально выражаясь, весь этот мир расположен по ту сторону температурного барьера. Скажем, чем больше излучает звезда и чем холоднее она становится, тем выше ее энергетический уровень. Не здесь ли, не в этом ли разгадка непостижимой энергетической избыточности квазаров, которую не в состоянии

обеспечить не только термоядерная реакция, но и полная аннигиляция вещества? И не в этом ли разгадка необъяснимого энергетического равновесия вселенной!?

Итак, при работе энергия не тратится, а накапливается. Тело движется не в направлении действия силы, а в противоположном. Два тела не притягиваются, а отталкиваются. Следовательно, масса отрицательна. Странное, нелепое, бессмысленное понятие «минус масса»! Но без него не обойтись, только оно хоть что-то объясняет.

Отрицательная материя так же противоположна антиматерии, как и материи. Антиматерия ничем не отличается от обычной, кроме знаков частиц. По внешнему виду мир из антиматерии не отличишь от нашего, пока не произойдет аннигиляция. Мир же с отрицательной массой является антиподом для них обоих. Если представить все формы существования материи на оси координат, то наш мир займет лишь четверть пространства, правую верхнюю четверть. Левая верхняя четверть достанется миру антиматерии. Весь же низ схемы под горизонтальной осью абсолютно температурного нуля достанется «опрокинутому миру», миру с отрицательной массой.

И тогда нетрудно представить себе энергетический баланс вселенной как непрерывный обмен энергией между «высывающим» до взрыва от избытка «антитепла» отрицательным миром и высывающим до коллапса миром положительным.

«Но это уж действительно... что-то слишком мудреное, — скептически усмехнулся Бурьянов, тщетно пытаясь остановить себя на пороге новой теории мироздания. — Черт знает что, какие-то вселенские самораскачивающиеся качели! Ты бы прежде «минус массу» переварил».

Теоретически «минус масса» вполне возможна, однако она должна быть рассеяна в беспредельности про-

странства с плотностью в среднем частица на кубометр, как и «плюс масса». Но если мир из положительной массы понятен и закономерен, то как объяснить наличие целого мира из отрицательной массы, частицы которой не притягиваются, а отталкиваются? Только парадоксом вероятности!

«А коли так, — думал Бурьянов, — этот мир создан специально для меня, это последнее звено в моей коллекции несуразниц, посрамляющих законы вероятного. — Но тут он обрывал себя и мысленно стыдил: — Идеалист! Не он для тебя, а ты для него. Ты был создан на Земле для этого мира и отчасти по законам этого мира, и все, что ранее произошло с тобой, было только следствиями позднейшей встречи с «опрокинутым миром». Так радуйся, жертва невероятного, ты достиг своего, следствия привели к причине».

* * *

Бурьянову некогда было скучать: дни болезни, до отказа наполненные размышлениями о странных свойствах обретенного им мира, мелькали, как минуты. И все-таки стены тесной госпитальной каюты давили на него. Если бы не Зинур, оказавшийся верным другом, в этой клетушке с белыми эмалевыми стенами и впрямь нетрудно было свихнуться. Визиты жизнерадостного Зинура доставляли ему истинное удовольствие и скрашивали одиночество.

Как-то зашла Светлана, посидела молча минут пять, повздыхала — и вдруг две крупные слезины выкатились из ее глаз.

— Теперь я знаю, — сказала она, всхлипывая, — один ты любил меня по-настоящему.

— Почему ты говоришь «любил»?

— Бедный Бурьянчик, он и этого не понимает, — прошептала Светлана, поцеловала в лоб, как покойника, и выскочила, закрыв лицо ладонями.

Он и в самом деле ничего не понял: что это с ней?

Однажды, чтобы развлечь скучающего без работы доктора, Петр Петрович рискнул популярно изложить ему свою теорию. Доктор слушал внимательно, однако очень уж пристально, подозрительно пристально рассматривал своего пациента.

— Мне кажется, я сам отчасти принадлежу к этому миру. Как вы думаете, может быть такое?

— Отчего же, вполне! Кстати, это нетрудно проверить, если хотите.

— Как?

— Очень просто. Вы говорите, в том мире, чтобы вытащить гвоздь из стенки, надобно забивать его молотком, а чтобы заколотить, — вытягивать клещами, так?

— Совершенно верно, у них сила действует...

— И мы поступим подобным образом. Я беру шприц и делаю вам какое-нибудь нейтральное вливание, ну, например, глюкозу. Если вы из нашего мира, шприц опустеет, а если из «опрокинутого», в нем появится венозная кровь. Надежно и безопасно.

Петр Петрович согласился. Доктор тут же показал ему шприц, на вид совершенно прозрачный, и воткнул иглу в руку. Мгновенно липкий, как паутина, сон начал обволакивать Петра Петровича. С ног до головы опутанный этой паутиной, он еще услышал скрип двери, глухой, точно из подземелья, голос что-то спросившего шефа и ствет доктора:

— Исполнено, товарищ начальник экспедиции. Печальная, так сказать, необходимость. Без анабиоза нам его до дому не довести, а так, глядишь, здоровеньким вернется. Не все еще потеряно.

«Три года пропадет, — подумал Бурьянов сквозь дремоту. — Никаких условий для нормальной творческой работы...»

Но засыпал Петр Петрович со спокойной совестью.

Он знал, что его теория совершит переворот в науке попуще теории относительности. Ничего более безумного не смог бы придумать ни один сумасшедший. Жалкие догматики, они посчитали его свихнувшимся и даже не подумали о том, что создать стройную теорию мироздания на данном этапе можно только в том случае, если тебе удастся свернуть собственные мозги хоть немножко набекрень.

А ему это удалось!

* * *

Очевидно, доктор оказался прав: три года глубокого сна действовали на Бурьянова благотворно, и ко времени приземления он был уже вполне здоров. Во всяком случае, с космодрома его отпустили на все четыре стороны, как и остальных членов экипажа.

Он шел знакомыми улицами, с удовольствием вдыхал полной грудью чудесный запах Земли, во все глаза глядел на милые лица прохожих и тихо радовался про себя, что «опрокинутый мир» не оставил в его психике никаких патологических отпечатков. Он шел бодрый, полный сил, в отличном расположении духа, что-то насвистывая и размахивая своим чемоданчиком, — и вдруг обнаружил, что идет не по улице, а... по потолку универсама. Заметив это, он остановился в растерянности и подумал: «Одно из двух: либо я и впрямь усвоил на Планете скверную привычку ходить вверх ногами, либо...»

Внизу было полно людей, но он постеснялся звать кого-нибудь на помощь, а идти дальше боялся, потому что не знал наверняка, действительно ли может ходить по потолку или просто сошел с ума. Он стоял на толчке универсама и чувствовал себя прескверно, все тело затекло от стояния вниз головой, в ушах угрожающе пульсировало, к тому же его могли оштрафовать

за истоптанный потолок, а у него не было с собой ни копейки.

И тут в толпе мелькнуло знакомое лицо — Ася, его Ася, исчезнувшая в свадебную ночь!

— Ася! — позвал он. — Ася, помоги же... хоть ты!

...В дверях стояла жена — заспанная, в распахнутом халате, с бигуди в жиденьких волосах. Все его кошмары исчезли разом.

— Чего ореш-ш-шь среди ночи? — прошипела она. — Ребенка разбудиш-ш-шь.

— Нет, нет, это я так, случайно, — испуганно забормotal Бурьянов. — Иди спи, Ася. Пожалуйста, спи.

Перед ним лежал черновик курсовой работы — двенадцать страниц расчетов, и в конце нелепая, хотя никакой ошибки не было, он уже тысячу раз проверил, «—т».

«Спать, спать, — приказал он себе. — К дьяволу, так можно и в самом деле с ума сойти. Пойду лучше завтра к профессору Куцеву, пусть сам расхлебывает».

Он почесал рыжее родимое пятно на левой руке, с удовольствием убедившись лишний раз, что он — это именно он, студент Бурьянов, зевнул и начал раздеваться.

...В институтском дворе Зинур со Светкой поглощали мороженое и любезничали всюю.

— Бурьянчик, привет! — сказала Светка, смачно облизывая выпачканные мороженым губы. Знала, наверное, что Петя неравнодушен к ней.

— Ну как, придумал новую теорию мироздания? — насмешливо спросил Зинур.

— Придумал, — честно признался Бурьянов. — А что, старик Куцев здесь?

Куцев был здесь.

— Я говорил об этом на лекции, — строго напомнил профессор. — Прогуляли, выходит? А следовало бы вам знать об этой гипотезе, хотя бы понаслышке. Над нею

работали Ландау и Оппенгеймер, ею интересовались Дирак и Гофман... Да что я повторяю, надобно лекции посещать, батенька!

Бурьянов совсем нос повесил, и, заметив это, профессор закончил ласковее:

— А теперь получается, вы самостоятельно пришли к той же гипотезе, Бурьянов. Похвально, конечно, однако... С равным успехом вы могли бы изобрести деревянный велосипед. Все ваши миражи — от невежества, исключительно от невежества. Невежество же преодолевается трудом, батенька. А вообще, если человек может жить в безумном мире математических абстракций, он не безнадежен для науки. Нет, не безнадежен. Так что дерзайте, Бурьянов. Дерзайте, опрокидывайте миры, авось да и опрокинете!



1

Прежде чем отправиться к себе в Дом культуры, дед Кузя, или, по паспорту, Кузьма Никифорович Лыков, выскочил на минутку на двор — поглядеть, как погода и не собирается ли дождь.

Было что-то около половины двенадцатого. Располневшая луна висела над избой кума Лексея, где-то далеко-далеко тарахтел трактор, лениво перебрехивались собаки, да изредка доносил ветерок девичьи частушки под гитару. Стоял обычный вечер современного колхозного села. Вот тут-то и случилось это самое — дед Кузя увидел черта.

Черт сидел на крыше сарая, свесив ноги и хвост, и грелся в теплых лучах луны. Это был самый настоящий черт, черный, как сажа, с зелеными кошачьими глазами, с маленькими рожками и аккуратными копытцами. Правда, был он невелик, не больше валенка, но во всем остальном абсолютно настоящий. Дед Кузя успел разглядеть, что физиономия у черта преунылая и глаза грустные, но тем не менее не вызывало сомнений, что в данный конкретный момент черт вполне доволен жизнью. Нежась в лучах ночного светила и ловко вылавливая лапкой блох из-под мышки, он даже мурлыкал от приятства.

Все это дед Кузя схватил разом, мгновенно, потому что в следующий миг рука его сама собой коснулась лба, он осенил себя крестным знамением — и черт сгинул, будто его и не было.

— Тьфу, тьфу, тьфу, нечистая сила, — трижды сплюнул в сердцах старик. — Всю жисть, можно сказать, пил, и никогда никаких чертей не мерещилось,

а тутока трех дней не прошло — и на тебе! Вот до чего довела человека трезвенность!

С невеселой этой мыслью присел дед Кузя на крылечко, чтобы путем и не торопясь сообразить, как же дошел он до такого состояния.

Припомнились ему три последних дня, когда он бросил пить, три дня, длинные, как целая жизнь. Все эти дни чувствовал себя дед Кузя каким-то не таким. И сам он был какой-то не такой, и люди вокруг какие-то не такие, и деревня выглядела не так, и даже время двигалось весьма относительно. Дед Кузя склонялся к мнению, что случилось с ним одно из двух: либо абберрация, либо конвергенция, и что из двух зол хуже, еще неизвестно.

А все началось с этого зануды Афонина, председателя сельсовета. Вот прилипчивый человек, одно слово — банный лист! «Бросай-ка, — говорит, — пить, Кузьма Никифорыч, ты у нас как-никак ветеран труда, не к лицу тебе деревню позорить». И уж так они его обрабатывали на сельсовете: и увещевали, и уговаривали, и стращали, и срамили всем скопом. Тыкали в глаза иностранцами, которые чуть не каждодневно наезжают в их пригородную деревню на экскурсии; грозились в Москву выслать на перевоспитание, как законченного алкоголика; укоряли, что, дескать, семья у него через эту самую водку разваливается, и разные другие комментарии высказывали. Дед Кузя держался до конца, хотя голова его трещала еще со вчерашнего и в глотке пересохло. Но разве одному против мира устоять? Опять выскочил Афонька. «Мы тебя, — говорит, — Кузьма Никифорыч, ежели не пресечешь в корне, от интеллектуальной работы отстраним и перебросим на склады». Тут уж дед Кузя струхнул. Известное дело, склады — разве это работа для умственного человека? Встал он да и ляпнул с перепугу: «Ладно, значица, с ентото самого момента ни-ни. Завязываю, значица, отсю-

дова следует, капли в рот не возьму. А кто увидит, плюнь мне в рожу по собственной инициативе».

И с тех пор во рту у деда Кузи действительно росинки не побывало, хотя поначалу все нутро натурально переворачивалось и горело синим огнем, а теперь вот еще и умственные сдвиги начались. Но хошь не хошь, а дал слово — держи.

Будучи уже каким-то не таким, каким знал себя шесть десятков лет и каким знала его деревня, начал дед Кузя примечать, что и с объективным миром творятся нелады. Допрежь всего изменилось пространство. Кривые улицы, по которым никак, бывало, не пройдешь, не наткнувшись на плетень, подозрительным образом выпрямились; ежели раньше любая дорога шла под гору, теперь стала ровной; ежели магазин всегда был под боком, теперь оказался у черта на куличках, аж на другом конце деревни. Такие же несурезицы происходили и со временем. Ежели, допустим, добрые карманные часы деда Кузи показывали двенадцать, то будильник на комодѣ у снохи оттикивал полпервого, ходики с кукушкой у кума Лексея куковали на всю округу час дня, а транзистор младшего сына Петьки передавал из Москвы только семь тридцать утра!

Дед Кузя высморкался, раздумывая о творящихся на свете чудесах, поглядел на луну, которая наполовину уже зашла за трубу кума Лексея, и тихонько заговорил вслух.

— Оно конечно, чудесов как таковых не бывает, лубой, значица, эффект можно объяснить по-научному. Вот, скажем, с деревней — так очень даже просто. Одно из двух: али искривление пространства, али коллапс вселенной. Опять же с часами — али теория относительности с ними произошла, али парадокс Эйнштейна. Что, не верите? Был такой ученый, Альберт Эйнштейн, башкастый мужик, скажу я вам. Надоела тебе, допустим, собственная единоутробная старуха хуже

горькой редьки — не беда. Садись себе в суп-световую ракету — и фьюить! А когда вернешься через недельку, молодой да красивый, твоей старушечки уж и след простыл, на Земле сто лет миновало. Отсюда следует — женись обратно на любой молодой, все законно, ни один облакат не прискребется. Вот такую штуковину изобрел ентот самый Эйнштейн. Голова был, не чета нашему Афоньке. Но это еще что, тут и удивляться-то нечему. А вот недавно изобрели в одной загармоничной стране такую амальгаму — слов нету. То есть, значаща, мужик теперь вовсе без надобности. В расход мужика можно пущать. Али на тягло переводить. Захочет теперь баба детеныша иметь, очень просто — цоп у себя из мягкого места одну всего клетку и давай ее, енту клетку, нянчить — ребенок вырастает. Теперича не токмо где — в нашей деревне этот эффект практически внедряется. А откель, думаете, у Нюрки Лоншаковой, у вдовы-то, двойня взялась? Во какие дела на белом свете творятся, а вы говорите...

Но тут хватился дед Кузя, что он нынче не пьян и находится не в скверике у магазина и не у кума Лексея, а у себя на дворе и корешков-слушателей вокруг нет, а потому смутился и захлопнул рот.

Да, так, кроме неладов с пространством-временем, которое дед Кузя еще мог как-то объяснить, обнаружил он в эти три дня вовсе необъяснимые нелады в собственном доме. Оказывается, дома-то у него не полный порядок и процветание, как он всегда думал, а действительно идейный разброд. Мало того, что старуха стала нервная да болезненная на почве алкоголизма дед Кузи, так и сын со снохой постоянно цапаются, Нютка на второй год осталась, а Петька, стервец, вовсе от рук отбился и тоже зашибать стал. И уж корову, старуха сказала, продали, и мотоциклу, а все денег до зарплаты не хватает. Вот какие дела. Тут уж дед Кузя, как ни перебирал свой обширный научный багаж, как ни

перетряхивал эрудицию, ничего объяснить не мог, и оттого делалось ему еще горше.

А надо сказать, был дед Кузя в деревне Баклуши крупнейший специалист по части теоретической физики, молекулярной генетики, нейрофизиологии, астронавтики и телепатии. Обычно после того, как третий или четвертый раз выходило у них с корешками по полбаночки на троих, дед Кузя закагивал возле магазина такую антирелигиозную пропаганду, что мужики мух ловили разинутыми ртами, а женщины и вовсе за версту бежали. И при всем при том Кузьма Никифорович Лыков ни университетов, ни академиев не кончал, а кончал только «курсы БСН», как он их называл, не расшифровывая, впрочем, что «БСН» означает «борьба с неграмотностью». Глубокие же знания он приобрел исключительно без отрыва от производства, то есть работая ночным сторожем при Доме культуры, где имелаась очень даже неплохая библиотека.

Охраняя по ночам вверенный ему объект, восседал дед Кузя с очками на носу в уютном кресле, жег до утра настольную лампу под зеленым абажуром и почитывал в свое удовольствие «Фейнмановские лекции по физике», ученый журнал «Знание — сила», сочинения Нильса Бора и почти все понимал. Известное дело, в ученых этих трудах без поллитры не разберешься, но дед Кузя заранее принимал меры — и даже удивлялся, как складно написано.

Работу свою дед Кузя ценил, недаром и пить-то бросил только под угрозой переброски на склады. Да и то, где еще найдешь в Баклушах другую такую умственную работу? А главное — библиотека Дома культуры позволяла ему всегда быть в курсе новейших открытий и гипотез, держаться на уровне и выступать с публичными лекциями перед населением, что, собственно, и составляло цель жизни старика, а если он и выпивал иногда — так только для храбрости...

Тяжко вздохнув, поднялся дед Кузя с крылечка. Пора было идти на службу, и без того, пока он тут прохлаждался, луна уже выкатилась по другую сторону трубы кума Лексея.

— Вынудил-таки... — пробормотал себе под нос старик. — Складами застрашал. До чего же занудная личность этот Афонька! Довел человека до полной каталклизмы, черти на почве трезвости мерещутся. Тьфу, нечистая сила! Сгинь, сгинь! И надо же было поддаться ихней агитации, бросить навовсе...

Старик осекся и замер. Откуда-то сверху, со стороны тусклых звездочек, донесся до него странный скрипучий голос с иностранным акцентом.

2

— Душевно рад, коллега! Греться на солнышке изволите, хо-хо-хо! — ответил ему другой голос, какой-то ватный, бесформенный, но на этот раз явно русский.

— Есть еще время до открытия, присаживайтесь, отдохните, — пригласил хрипловатый и скрипучий. По отсутствию интонаций и наличию едва заметного акцента дед Кузя, наметанный в дружественных связях, безошибочно признал во владельце этого голоса иностранца и беспокойно огляделся вокруг, никого, однако, не обнаружив.

— Будем знакомы, коллега. Лопотуша, — представился между тем русский.

— Герр Штюкк. Позвольте полюбопытствовать, мистер Лопотуша, как вы относитесь к идее организации данного конгресса?

— Признаться, коллега, без особого энтузиазма. Ну что, скажите на милость, могут сделать несколько сотен жалких чертей, леших и домовых, когда все человечество с его наукой и техникой, с его могущественными социальными институтами...

«Вот черти, нашли время и место беседовать, — раздраженно подумал дед Кузя, будучи уверенным, что где-то поблизости кто-то из односельчан болтает с приезжим иностранцем. — И кто этот Лопотуша, вроде бы такого и в деревне-то вовсе нет. Впрочем, за эти три дня мог появиться, чего только не случилось за эти три дня!»

— Полностью согласен с вами, мистер Лопотуша. Действительно, положение дел в мире ввергает в уныние, и мы отнюдь не надеемся, что наш уважаемый конгресс разом и радикально решит все проблемы. Но мы в состоянии хотя бы поставить вопрос ребром...

— Ха, поставить вопрос! Перед кем поставить, милостивый государь? Попробуйте-ка поставить его перед человечеством! А перед чертячьими сборищами уже тысячу раз ставили, да что толку!.. — и ватный голос оборвался на унылой утробной ноте.

Дед Кузя глянул вверх — и снова едва не перекрестился, но на этот раз сдержал себя: дудки, опять ненароком сгинет нечистая сила, а надо бы послушать, чего они там болтают.

На краю крыши, чуть ли не над головой старика, сидел тот самый черт. То, что сидело рядом с ним, выглядело странно и незнакомо. Оно напоминало скорее всего старую рукавицу, вывернутую наизнанку овчиной наружу и провалявшуюся добрый год в углу за печью, куда заматают сор... или закатившийся в подпол бабкин клубок шерсти... или старую плешистую крысу, облепленную репьями.

— Сгинь, сгинь, сгинь, — дрожащими губами забормотал дед Кузя. — Нас чертями не испугаешь, мы воинствующие атеисты. Да что же это такое, господи, али галлюцинация, али взаправдашние черти? — Лихорадочно он начал рыться в своей универсальной памяти, ища какое-нибудь материалистическое объяснение чертям, но ничего такого подходящего не подвернулось.

— Глядите, человек! — проскрипел вдруг иностранец испуганно.

— Не бойтесь, герр Штюкк, это не человек, это дед Кузя, — успокаивающе прошамкал Лопотуша. — Он лыка не вяжет.

«Ишь ты, — удивился дед Кузя, плохо расслышавший последнюю фразу. — Лыков, говорит. Видать, здорово насолил я им своей антирелигиозной пропагандой. Да и то, меня в Баклушах не токмо черти — каждая собака знает».

— Так что не обращайтесь на него внимания. А вообще, надо сказать, никакого покоя от людей не стало. Только расположишься где-нибудь в укромном уголке, а уж человек тут как тут. Воистину, куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

— Да, местность здесь у вас весьма оживленная.

— Тогда позвольте вас спросить, коллега, — чем же объясняется, что именно нашу деревню избрали местом проведения конгресса?

— Недоразумением, исключительно недоразумением, — саркастически проскрипел черт. — Исполком решил выбрать самую захудалую, самую темную деревню. Естественно, взглянули на карту, и эта местность нас прямо... как это по-русски?... очаровала. И деревня Баклуши, и речка Вонючка, и Змеинные болота, и гора Чертовы кулички, и Русалочье озеро. Можно сказать, уникальный уголок. К сожалению, карта оказалась несколько устаревшей, еще дореволюционной. Мы дали задание подобрать о деревне Баклуши газетные публикации. И попалась нам статья некоего предпринимателя, побывавшего недавно здесь в качестве туриста и немного знающего русский язык. Вот что он пишет: «Народ в этой стране темен и непросвещен, до сих пор процветает вера в чертей, леших и ведьм. В деревеньке Баклуши я своими ушами слышал, как один почтенный человек сказал своей супруге возле магазина:

«Лучше отдай бутылку, ведьма», на что та ответила: «Да пошел ты от меня к лешему, старый черт!» После такого свидетельства очевидца, мистер Лопотуша, вопрос был решен окончательно...

«Какая же это скотина так опозорила нашу деревню на весь мир? — грозно подумал дед Кузя. — Возле магазина, говорит. Вроде бы я всех знаю, кто возле магазина. Ужо я его отыщу!..»

— И как видите, ошибочно, — продолжал черт. — Вот и верь прессе после этого. Оказалось, ничего похожего. Оживленное место, электричество, радио, Дом культуры с богатой библиотекой, передовой образцово-показательный кооператив, а главное — просвещенные, приветливые и жизнерадостные люди.

— Добавьте сюда, герр Штюкк, большой гидролизный завод по соседству, который превратил реку Вонючку, прозванную так за целебные сероводородные ключи, в сточную канаву. И осушенные Змеиные болота, где прежде водилось полным-полно дичи, а теперь одна осока. И порошок, который распыляют по всей округе с самолета. От него в лесу вся живность передохла, а у меня, извините, чесотка по телу пошла. И динамик на Доме культуры день и ночь орет без передыху: «Стань таким, как я хочу!» А я, герр Штюкк, не желаю стать таким, каким они хотят. Я, может быть, желаю остаться самим собой, добрым старым домовым, и по мере сил делать свое дело...

«Эвона оно что! — сообразил дед Кузя. — И как это я раньше не допер, ента же штука — самый обнаковенный домовый. Ну и негодяй! Типичный негодяй этот Лопотуша. А еще свой, колхозный. Хаает почем здря нашу действительность перед иностранцем, а сало небось русское жрет! Погоди же, доберусь я до тебя, крыса безмозглая, выведу на чистую воду!»

— Понимаю вас, глубоко понимаю и сочувствую, — вежливо вздохнул иностранец, то есть черт. — Мы весь-

ма озабочены чрезмерным развитием того явления, которое определяется понятием «изнанки технического прогресса», или, как любят выражаться русские, «оборотная сторона медали». Но, к сожалению, остановить человечество в его поступательном движении невозможно. Единственное, что мы в состоянии сделать, — как-то смягчить удар, ожидающийся уже в ближайшем будущем. Собственно, этому и посвящен конгресс. Кстати, далеко ли до Змеиных болот, мистер Лопотуша?

— Напрямую, — ответил домовой, — час ходу. Но я знаю одну окольную тропинку, за десять минут доберемся. Ого, уже время...

И пара нечистых растаяла в темноте на глазах у пораженного всем увиденным и услышанным деда Кузи.

Заинтригованный донельзя, старик решил не ходить нынче на службу, ничего не случится за ночь с Домом культуры, а отправиться на Змеиные болота и хоть одним глазком взглянуть на затевающийся там чертячий шабаш.

3

Окольную тропинку к Змеиным болотам знал не только Лопотуша, знал ее и дед Кузя. И хотя за быстрыми на ноги чертями старик явно не поспевал, через полчаса он уже подходил к той местности, где в добрые старые времена действительно были грандиозные болота — мечта охотников на водоплавающую дичь, а ныне простирались унылые солончаковые луга, заросшие осокой. Луна светила всюю, и старик видел каждую травинку, каждый лист на тропе.

Внезапно из-за кустов на освещенное место выкатилось что-то. Это было... Это было похоже на два пушистых одуванчика, только побольше. Подскакивая и обгоняя друг друга, покатались они впереди деда Кузи в сторону Змеиных болот. Смекнув, что и эти, по всей

вероятности, из той же компании, старик снял шапку, изловчился и накрыл нечисть, как пацаны накрывают зазевавшуюся бабочку. Потом осторожно нашарил их рукой и, стараясь не раздавить, по одному пересадил в карман. На ощупь они оказались как мышата, мягкие, теплые, и гладить их было приятно и щекотно.

Дед Кузя довольно долго бродил по Змеиным болотам, но никаких следов герра Штюкка, Лопотуши или еще чего-нибудь подозрительного не обнаружил. И только под утро, когда луна уже начала бледнеть, а восточная сторона неба исподволь наливаясь прозеленью, уловил старик какой-то характерный запах, отдающий затхлостью и горящей серой. Он пошел на запах и вскоре услышал галдеж и писк, исходящий из небольшого овражка на границе Змеиных болот и леса, что у подножия горы Чертовы кулички. Осторожно, кустами, прокрался он к откосу, глянул вниз — и едва не свалился. Вот это было зрелище!

По всему овражку, занимая добрый гектар площади, кишмя кишела самая разнообразная нечисть. Тут были и обыкновенные черти вроде герра Штюкка, засаленные, лысоватые, с унылыми дряблыми физиономиями, с изрядными брюшками, а иные с обломанными рогами; и зеленобородые коряжистые лешие, обросшие лишайником; и жабообразные, ластиногие, ядовито-зеленые болотные черти с вылезшими на лоб склеротическими глазами; и перепончатокрылые надутые упыри; и кикиморы, которых дед Кузя сразу узнал, хотя отродясь не видывал подобных неопишуемых страшилищ; и какие-то длинноногие вертлявые пигалицы; и важные паны, состоящие сплошь из одной бороды; и явно заграничного происхождения лощенные, упитанные, с выражением собственного достоинства на лице гномы и тролли; и скучающие сонные эльфы; и обыкновенные домовые вроде Лопотуши — запущенные, заплесневелые, изъеденные молью и вываленные в пуху; и разная другая

мелочь без названия, отдаленно напоминающая то запечных сверчков, то помятые одуванчики, то даже ершики, какими моют бутылки. И вся эта нечисть шебутилась, размахивала ногами, руками, лапами, хвостами и крыльями, у кого что было; невообразимо галдела, пищала, хихикала, свистела, аплодировала, улюлюкала, топала, заупокойно выла и утробно ухала — хоть уши затыкай; и все проталкивались к трухлявому пеньку, заменявшему трибуну, и все требовали слова. Зрелище было настолько непристойное и омерзительное, что дед Кузя хотел уже плюнуть и уйти от греха подальше, но тут один важный седобородый пан, на вид вроде попрличнее других, влез на трибуну, то бишь на пенек, и провыл, что объявляется пятнадцатиминутный перерыв, после чего прения будут продолжены.

Моментально вся нечисть бросилась врассыпную и раскатилась в разные стороны с криками: «Пиво привезли!», «Мохеровые платки выбросили», «На меня очередь займите», — будто только затем и съехала сюда со всего света, чтобы толкаться в буфетах и прохаживаться, покуривая, по коридорам.

Деда Кузю сшибли с ног, сотни две тварей пробежало по нему, изрядно помяв бока, и старик на всякий случай притих под кустом — с такой ватагой лучше не связываться. Конечно, один на один он вышел бы против любого черта, любого лешего, но супротив целого конгресса нечистой силы... Известное дело, обнаружат — защекотят насмерть.

Так и лежал дед Кузя весь перерыв, посматривал во круг прищуренным глазом, слушал краем уха да на ус мотал.

Стоявший рядом домовой, плешивый, с редкими островками свалывшейся шерсти по тулову, обвязанный вместо шарфа старым чулком, гнусаво жаловался лупоглазой жабе:

— Муж у нее положительный, смирный, слова в за-

щиту не скажет, так и достается же нам обоим от нее! Сурьезная такая дама, кандидат наук, да еще очки носит, ну просто не приведи господь. Раз, значит, сослепу хвать меня за шкирку — и в таз с водой. Заместо котенка. И давай купать, да еще с «Новостью». Это нечистую-то силу — с «Новостью»!

— Ква, ква, — согласно кивала жаба.

— Хозяина ни в грош не ставит. Вечером ложится — непременно с книжкой. Раньше, бывало, еще до елестричества, выскочит хозяйюшка на двор, пуганешь ее как следует, прибежит, дрожит вся, голубушка, к мужику прижмется, пригреется — любо-дорого. Так и детишки же были. А теперь одни книги. Да еще этот самый... дай бог памяти... елевизор. Больно грамотный народ пошел, ни во что не верит. Попробуй ее напугать, когда она наскрозь мировоззрением пропитана. И вот вам пожалуйте — один дитенок растет в семье, и тот ни то ни се. А разве это семья, когда один дитенок?

— Ква, ква, — кивала жаба.

— Ну, с хозяином, правда, живем душа в душу, грех жаловаться. Полное взаимопонимание. Он мне под печку окурки подсовывает, не забывает старика. И я его иной раз выручаю как могу. Единожды уж больно она разошлась на него, так и сыпет выражениями, так и сыпет. Дай-ка, думаю, пощечочу я ее малость, чтоб отвлечь. Как она зафитилит ему, бедолаге, по физиономии! Какой с нее спрос — близорукий человек...

Потом возле деда Кузи остановился заморский гном с двумя голенастыми пигалицами не то в мини-юбках, не то в макси-шляпках, не разберешь, пошел вещать:

— Вся беда, как нам доподлинно удалось установить, в архитектуре. Современный жилой интерьер не предусматривает, к сожалению, площади обитания для домового или другой заменяющей его субстанции. Где, позвольте вас спросить, обитаться нашему брату, если нет ни печи, ни подполья, ни чердака? Не в туалете же, пар-

дон. Я лично, например, глубоко привязан к своему хозяину и не оставляю ни при каких обстоятельствах. Но вот не столь давно переезжал он в новую квартиру — и даже не позаботился пригласить меня. Так и бросил бы на произвол судьбы, не догадайся я залезть в старый валяный сапог. Нет, пока архитекторы не предусмотрят в современном жилом интерьере уютный уголок для нашего брата, не видать человечеству счастья. Кстати, мой хозяин архитектор, и провел я недавно такой эксперимент: нашептал ему ночью насчет этого самого уголка, он и учел мои советы, предусмотрел в проекте специализированный закуток. И что же — хозяина осмеяли, объявили рутинером, едва не попросили с работы. Не знаю, не знаю, о чем думает человечество, как оно собирается жить дальше!..

Пигалицы восторженно плакали, вертели тонкими шеями, стукались носами, соглашались.

— Не следует недооценивать наших возможностей, — толковала упырю кикимора, прогуливаясь с ним вокруг куста, под которым лежал дед Кузя. — Все-таки мы в состоянии влиять на людей, что-либо внушая им во сне. Я вот своими руками абсолютно ничего сделать не могу, даже нитку ссучить, а внушила же хозяину, редактору самой объемистой в стране газеты, провести дискуссию в защиту природы. Какая это была дискуссия — дым столбом!..

— Гибнет, гибнет чертячье племя, — гундел кто-то за спиной. — Никаких условий не создано для плодотворной работы. Ну скажите, что я ей плохого сделал, кроме хорошего? А она меня аэрозолью, аэрозолью, как таракана. Едва богу душу не отдал, честное слово...

— Приспособливаться надобно к изменившимся условиям, а не плакаться в жилетку, друг мой. Даже мошь научилась ныне капронами да нейлонами питаться, а нам и бог велел. Я лично намерен до конца нести свой тяжкий крест.

— Что касается нас, водяных, мы много довольны. Хватит, послужили человечеству, теперь пусть оно само над собой работает. Ни одного водоема не осталось не-отравленного вблизи жилья. Не могу же я, черт возьми, в мазуте жить. Рыба и тодохнет, а мы все-таки не плотва, мы народ творческий, нам атмосфера требуется. Так что, если мы еще нужны человечеству, пусть оно прежде выведет нас на чистую воду...

— Как милости, смерти у бога прошу, а не дает. Вот и влачу существование. Точно в народе говорят: нежить и жить не живет, и умирать не умирает...

Тут задребезжал звонок, и всю погань вокруг как ветром сдуло в овражек, только один нетопырь, озираясь, направился прямехонько в буфет. Дед Кузя поднялся, отряхнулся, размял косточки и решил послушать, о чем они там будут еще преть, потому как распирало его любопытство.

4

Почти до самого восхода продолжались прения, шумные, страстные и бестолковые. Дед Кузя ловил каждое слово, стараясь уяснить, чего же все-таки добиваются черти, чего ради съехались сюда их представители из многих стран мира. Но даже ему с его фундаментальным естественнонаучным образованием трудненько было понять сразу, о чем шла речь на конгрессе. Поначалу казалось, что главная проблема, волнующая это собрание, — невыносимые условия существования, созданные в последнее время человеком чертову племени. Но по мере того, как все новые и новые ораторы влезали на пенек, начал постигать дед Кузя, что не о себе пекутся черти и что единственная задача конгресса — спасти заблудшее в дебрях цивилизации человечество. Если коротко суммировать все, что вынес из этих прений старик, картина получалась такая,

Когда древний человек научился добывать огонь, первое живое существо, пригревшееся у его очага, была не собака — это был черт, покинувший свои болота. Постепенно, исподволь складывался своеобразный и весьма стойкий к жизненным невзгодам симбиоз человек — черт. Человек в этом странном на первый взгляд содружестве кормил, давал пристанище и обогревал черта, черт же, продолжительность жизни которого измеряется столетиями, следил за преемственностью традиций, обычаев и нравов от поколения к поколению быстро сменяющих друг друга людей. С самого начала человек был общественным существом, причем его общественная жизнь неизбежно протекала в двух инстанциях: в племени и в семье. И если племенные узы под воздействием борьбы за существование крепили век от века, то в делах семейных пришлось полностью положиться на черта. Издревле стал черт добрым гением семейного очага: нянькой, педагогом, советчиком, историком и этнографом, а если понадобится — судьей и полицейским.

Когда ребенок впервые разбивал глиняный горшок, представлявший несомненную материальную ценность, он просил: «Черт побери!» — и черт послушно подбирал и выбрасывал черепки. Когда же это случалось вторично, мать призывала в сердцах: «Черт тебя возьми!» — и черт безропотно брал ребенка, на час-другой освобождая от него занятую кухонными заботами хозяйку. Если что-то терялось в хижине, говорили: «Черт знает, где эта вещь», — и черт действительно все знал. Но если уж в доме царила полная неразбериха, говорили: «Сам черт ногу сломит», — и черт действительно не раз и не два ломал ноги, наводя порядок в запутанных человеческих делах. За проступки против семьи и обычаев предков черт карал домочадцев, и люди привыкли посылать провинившегося на проработку лаконичной фразой «Пошел к черту!». Иногда черт заставлял браться за какое-то трудное, рискованное дело, и коли оно не выгорало,

человек пенял: «Дернул же меня черт в одиночку нападать на мамонта!» Когда ребенок уходил на прогулку в сопровождении черта, взрослые не тревожились за своего отпрыска: «Черт с ним». Когда же кто-то настолько зазнавался, что пренебрегал поддержкой черта даже в самых отчаянных начинаниях, такого осуждали: «Ишь ты, сам черт ему не брат». Порой черт наказывал всю семью: «Опять черт несет кого-то к нам в гости», порой был щедр на разного рода сюрпризы: «Чем черт не шутит!», а то и люди ополчались на запечных жителей, так что «всем чертям становилось тошно». Словом, человек шага не мог ступить без помощи черта, а если вместо своего, привычного черта, бравшего очередной отпуск, временно появлялся какой-то другой, человек выражал недоумение: «Это еще что за черт?!»

Так было от века. Казалось, ничто не угрожает семье, как ничто не угрожает содружеству человека и черта. И вдруг где-то в середине двадцатого столетия мощная волна технической революции потрясла общество, принеся многие и многие блага. Но хрупкая скорлупка семьи не выдержала потрясения и дала трещину, поначалу почти незаметную. Только когда семья фактически уже потеряла свое прежнее значение в воспитании, а говоря шире — в воссоздании человека, черти, чувствуя свою ответственность за собрата по симбиозу, хватились и всполошились не на шутку. И было из-за чего!

Действительно, где как не в семье с детства учили человека любить мать и чтить отца, уважать старших и заботиться о младших? Где, как не в семье, воспитывались традиции, прививались убеждения, от деда к внуку передавались веками выверенные обряды и обычаи? И где, как не в семье, впитывал человек жизненный опыт, житейскую мудрость, столь необходимые в общении с ближними? Вот почему культ очага, домашнего уюта, отчего дома стал в свое время основной заботой

чертей, огромное большинство которых попросту превратилось в домовых.

Когда же семья начала отмирать, когда мать и жена, бывшая хранительницей семейного очага, во всем уподобилась мужчине и пошла на службу, когда работа, досуг, развлечения, еда, воспитание детей, традиционные праздники и многие другие домашние обряды стали исполняться вне дома, жилище человека превратилось в простую ночлежку и потеряло прежнюю свою притягательность, хорошо выраженную древнейшим и многозначным словом «дом».

Дом утратил прежнее свое значение, молодые люди слишком рано становились самостоятельными, слишком рано покидали отчий кров, пытаясь создать свой дом. И цепочка преемственности рвалась, не успев окрепнуть. Сын и дочь не успевали перенять житейскую мудрость отца и матери, проверенную опытом многих поколений, и каждому поколению приходилось все начинать сначала.

Не прошедшие науку человеческого общения, не умеющие уступать друг другу, не знающие терпимости и привязанности, молодые не могли построить толком и свою семью, не могли по-настоящему воспитать и своих детей.

И где тут выход, что надо сделать, чтобы вернуть человека в лоно семьи, какие предпринять срочные и эффективные меры — вот о чем шла речь на бурном и печальном чертячем конгрессе.

Унылые речи делегатов, их утробный вой, их жалобы и стоны так забили голову старику, что он и вовсе перестал что-нибудь соображать. Однако же, будучи стреляным воробьем, не раз попадавшим еще и не в такие переплеты, дед Кузя быстро взял себя в руки, и вскорости созрел у него хитрый и далеко идущий план. Теперь он знал, как помочь чертячей, а в конечном счете человечей беде.

— Али пан, али пропал, — решительно сказал старик и с этими словами стащил с себя рубаху, перевязал ворот рукавами, соорудив нечто вроде мешка, натянул пиджак на голое тело и, предчувствуя скорый конец пленарного заседания, затаился на тропе.

Долго ждать не пришлось. Первым угодил в мешок какой-то зазевавшийся зеленобородый леший, древний, как сама тайга. Потом, когда по тропе ходом пошли один за другим делегаты, компанию с ним разделили две неразлучные пигалицы, смурная мутноглазая кикимора, пара шибяющих в нос плесенью домовых, заграничный наодеколоненный тролль и десятка два одуванчиковых шаров, оказавшихся, как выяснилось впоследствии, «домашними чадами». Со всей этой добычей, доверху наполнившей мешок, подался было дед Кузя домой, когда услышал знакомый скрипучий голос. В окружении панов и упырей шествовал по тропе тот самый черт.

«Ага, Герштюк, чертов сын! — обрадовался старик. — Тебя-то мне и не хватало для полного комплекта!»

Он выскочил на тропинку и схватил герра Штюкка за ногу. Но в этот самый момент мешок зацепился за куст, развязался, и вся наловленная стариком живность в мгновение ока разбежалась. Дед Кузя выругался, сплюнул, подобрал рубаху, но ловить решил больше никого не ловить, боялся упустить герра Штюкка. Трудно сказать, по какой причине, но этот герр Штюкк, черт степенный и рассудительный, пришелся старику по душе. Так он и отправился домой, с рубахой через плечо и с чертом на руках. Чтобы небольшие, но весьма заметные рожки герра Штюкка не бросались в глаза, если кто встретится на пути, дед Кузя прикрывал их ладонью, то и дело поглаживая черта по голове, так что со стороны можно было подумать, будто старик Лыков воз-

вращается из лесу с крупным черным щенком на руках. К счастью, никто им не встретился в этот ранний час.

Когда дед Кузя достиг деревни, перелез забор со стороны поскотины и открыл калитку во двор, солнце уже высунулось из-за горизонта. Допрежь всего старик снял с гвоздика над конурой собачью цепочку, память по издохшему весной псу Кабыздоху, соорудил из ремешка подобие ошейника и привязал герра Штюкка к ножке своей железной кровати, стоявшей в сарае, куда старуха в прежние пьяные времена запирала иной раз самого деда Кузю, чтобы «дурь выветрилась на свежем воздухе» и чтобы «избу этим смрадом не отравлять». Потом тихонько прокрался в сенцы, принес блюдце молока, поставил на пол перед герром Штюкком и завалился спать. После приключений минувшей ночи сон сморил его мгновенно.

Снилась деду Кузе разная чепуха, такая чепуха, что не приведи господь. Будто бы у них в Баклушах нынче днем должна открыться выездная сессия Академии наук, деду Кузе предстоит делать доклад, а еще гора литературы не прочитана, да и не припас он ничего, чтобы не ударить в грязь лицом и соответственно встретить корешков из ученой братии. И будто бы всю ночь готовил он этот самый доклад, а поутру хлопотал о встрече и заседал в оргкомитете, куда входили, кроме него, Афонька и, разумеется, кум Лексей.

Проснулся дед Кузя в полдень и сразу обнаружил, что спал почему-то не в сарайчике, а на диване в библиотеке Дома культуры. Рядом громоздилась изрядная стопка научных книг, поверх которой лежали его очки. Все могло быть, мог он сдуру и на службу примчаться с утра пораньше, и доклад для академиков готовить, мало ли что взбредет на ум трезвому человеку, — но откуда взялись очки?! Старик доподлинно знал, что оставил их в избе, у снохи на комод, и вчера вечером, прежде

чем выйти на минутку во двор, подумал еще: «Не забыть бы очки-то».

Ломая голову над этим странным обстоятельством, дед Кузя поднялся с дивана — и вдруг ощутил приятную тяжесть в карманах пиджака. А было это не что иное, как она самая — две непочатые бутылки. Мысли старика вовсе перепутались: да уж не нарушил ли он зарок, данный сельсовету и лично председателю Афоньке, и не пригрелись ли ему по пьянке приключения с чертями и конгрессом? Факты, которые держал он в руках, неопровержимо свидетельствовали в пользу этой гипотезы, и все-таки старику ничего такого крамольного не припоминалось.

Чтобы рассеять сомнения, поспешил он домой, потому как только герр Штюкк, один во всем мире, мог успокоить его. Но герра Штюкка в сарайчике не оказалось, зато блюдо с молоком и цепочка оставались на месте. Однако ни блюдо, ни цепочка сами по себе не могли служить сколько-нибудь убедительным доказательством проведения в Баклушах крупного международного конгресса. А следовательно, все это примерещилось ему опята же на почве алкоголизма.

Но, проверив свое самочувствие, дед Кузя не обнаружил ни головной боли, ни жажды, ни желания «подлечиться». Примета была верная, стало быть, зарок он не нарушил, а необъяснимые на первый взгляд происшествия объяснялись просто: нечистая сила в лице герра Штюкка сыграла с ним злую шутку, — так что впредь надо держать ухо повострее.

Придя к такому выводу, дед Кузя уже без сожаления прихватил обе поллитровки, перелез в огород к куму Лексею и подсунул их в огуречную грядку, с которой они, бывало, воровали огурчики на закуску и которую, он знал, кум Лексей непременно посетит в скором времени, — пусть же будет ему сюрприз.

Избавившись от соблазна, старик направился в избу

и нашел там, у снохи на комодке, еще одно подтверждение своей правоты: очки, вторые очки, точно такие же, как в кармане. Сомнений не оставалось — разве без помощи нечистой силы достанешь в наше время очки?!

На этом дед Кузя окончательно успокоился и взялся у себя в сараюшке за настрой удочек, причем вместо крючков, грузила и поплавков испытывал разного рода петли. Потом, осмотрев ременный ошейник, из которого герр Штюкк преспокойно вытащил свою рогатую голову, разрезал старую консервную банку, чтобы смастерить ошейничек похитрее. За этим занятием и застала его старуха.

— Чего опять тутoka шебутишься, не пообедавши? — спросила она, приняхиваясь.

— Да вот, блесну делаю, — не сморгнув соврал дед Кузя. — Думаю завтра утречком на рыбалку пойтить. Хорош клев ожидается.

6

На этот раз герр Штюкк был привязан надежно и сбежать не мог. Но, памятуя о прошлых чертячьих проделках, дед Кузя изо всех сил старался не уснуть — и все-таки закемарил.

Проснулся он от шекотки в ухе. Спросонья показалось, будто в ухе у него заблудился клоп. Открыл глаза — возле подушки, пригорюнившись, сидел Лопотуша и сосредоточенно шекотал деда Кузю соломинкой.

— Сгинь, нечисть! — прикрикнул на него старик.

Но Лопотуша не сгинул, только поежился. У кровати, свернувшись клубочком, лежал мрачный герр Штюкк, не спал.

— Кузьма Никифорович, отпустите иностранца, — нервно скомкав соломинку, попросил Лопотуша прерывающимся голосом.

— А ты кто такой будешь, чтобы мне указывать?

Собственно, вопрос был чисто риторический, но протодушный Лопотуша не понял этого.

— Да тутотшний я, баклушинский. В домовых живу у Бахтевых.

— Ну так и пошел отседова, — подвел итог дед Кузя, поворачиваясь на другой бок.

— Никак невозможно мне уйти, Кузьма Никифорович, — не унимался Лопотуша. — Вы только подумайте, герр Штюкк иностранец, личность, можно сказать, неприкосновенная, делегат конгресса, член исполкома, магистр ордена. Это же международный скандал, Кузьма Никифорович! Мы же гарантии дали, как мы теперь на ихнюю ноту отвечать будем? Опозорите вы на весь мир нашу деревню...

— Туда же еще, рассуждает о позоре! А ты скажи мне, сукин ты сын, кто это прошлой ночью почем здра поносил перед иностранцем нашу деревню?

— А кто в иностранную газету попал, когда свою законную старуху обозвал ведьмой? — нашелся Лопотуша.

— Ну и кто же? Кто?

— Да вы, Кузьма Никифорович, вы, кто же еще!

Дед Кузя потерял дар речи от неожиданности — так ярко вдруг предстала перед ним та давняя сцена, когда он поскандалил возле магазина со старухой, канючил у нее бутылку и нехорошо обозвал в присутствии какого-то ухмыляющегося иностранца в клетчатых штанах.

— Н-да, возможно, не помню, — пробормотал он смущенно. Но тут же, наткнувшись взглядом на угрюмо слушавшего разговор магистра ордена, сказал строго: — А Герштюка не отпущу, для дела нужен, значица. Все, проваливай, любезный, аудиенция окончена.

Но Лопотуша не собирался проваливать.

— Ну зачем вам, Кузьма Никифорович, заграничный черт? Одна морока с ним. Он и обычаев-то наших не знает, ничего по дому делать не сможет, зачем вам та-

кая обуза? Возьмите меня взамен, до конца дней верой и правдой служить буду — и вам, и вашим детям, и вашим внукам.

— У меня, поди, свой домовый есть? — неуверенно наметнул старик. — Вы же там толковали, на своем конгрессе, что в каждом доме...

— Был, Кузьма Никифорович. Был, да копыта откинул ваш домовый. Царствие ему небесное, уж три года как преставился кум Суседушко, отравили вы его своими испарениями. Отмучился, сердешный.

— А ты вот напрашиваешься, не боишься отравиться?

— Да уж не сладко у вас жить, Кузьма Никифорович, совсем не сладко. Видите, на какие жертвы иду заради предотвращения международного конфликта. Отпустите иностранца, достаток и благодать обеспечу в вашем доме.

— Оно конечно, — раздумчиво произнес дед Кузя, скребя ногтем щетину на подбородке, — не худо бы порядок навести, полная разруха образовалась в избе через мою постоянную занятость. Но тут дело государственной важности. Даже всемирной. А потому, приятель, приношу свое личное благополучие в жертву общественному долгу и Герштюка не отдам.

— Господи, на что он вам нужен?!

— А вот возьму отпуск по службе, продам осенью картошку да катану в Москву, прямо в Академию наук. Пущай там ученые с вашим Герштюком разбираются и сообща решают проблемы, какие вы, чертово семя, по недоумию своему взяли без помощи людей решать.

Тут герр Штюкк, до сих пор молчавший, вскочил на ноги, стукнул копытцами и завопил:

— Он меня погубить хочет!

— Не волнуйтесь, коллега, — успокоил его Лопотуша. — Даю слово, так или иначе все уладится.

— «Так или иначе!» Вот именно: так или иначе, — захныкал зарубежный гость.

— Вы же высокообразованный, высококультурный человек, Кузьма Никифорович, — пышным штилем начал Лопотуша. — Неужели вы не понимаете, что таким путем не только ничего не добьетесь, но и все наши задумки на корню загубите? Ведь конгресс не шуточки, конгресс мудрое решение принял. Учтите, на весах положено будущее человечества, и теперь это будущее в ваших руках, Кузьма Никифорович. А вы говорите — в академию! У них, у академиков, совсем другие взгляды на жизнь. И цели совсем другие. Вы думаете, они заинтересуются проблемами, которые решал конгресс? Черта с два! Они заинтересуются, к какому семейству отряда парнокопытных принадлежит герр Штюкк, вот чем они заинтересуются...

— Они меня препарировать будут! — содрогнулся герр Штюкк и вдруг упал на колени. — Ради всех святых, отпустите меня, мистер Лыков!

Это было уж слишком.

— Цыц, вы, нехристи! — прикрикнул дед Кузя. — Только спать мешаете своим бормотаньем. Сейчас как переkreшу обоих!

Герр Штюкк и Лопотуша испуганно притихли, а дед Кузя отвернулся к стене, натянул на голову одеяло и уснул сном праведника.

Проснулся он далеко за полдень. Ни Лопотушей, ни герром Штюкком даже и не пахло. Толстая железная ножка кровати, за которую он привязал на рассвете черта, была согнута в дугу, а сам герр Штюкк удрал вместе с цепочкой, свободно сняв ее с ножки. На том месте, где еще совсем недавно сидел рогатый член чертячьего исполкома, лежала записка с магическим словом «Aufwiedersehen!».

Деду Кузе сделалось дурно, сердце так и уходило, так и проваливалось в пятки. «Одно из двух: али диабет, али миокард», — подумал старик и рухнул без чувств.

С тех пор прошло два года.

Дед Кузя окончательно бросил пить, и никто ни разу не видел его навеселе, даже по воскресеньям. В доме воцарился мир и достаток. Старуха была довольна, и сын со снохой жили душа в душу, и Нютка стала учиться лучше, в кружок кройки-шитья записалась, и Петька остепенился, взялся кой-какую работу по дому делать, крышу починил и забор новый поставил. По праздникам большой семейный стол ломился от снеди, и бутылка появлялась, и новый мотоцикл с коляской купили недавно, и телевизор справили, и холодильник, а все равно денег до зарплаты почти всегда хватало. Так что соседи и родня, кроме кума Лексея, нарадоваться не могли на такое неожиданное процветание Лыковых.

Да только нелегко досталось это благоденствие деду Кузе. Особенно первое время ходил он мрачнее тучи: чувствовал камень на душе. Не раз, когда никого не было дома, шуровал он кочергой за печью, шарил что-то в подполе и на чердаке, даже крысоловку в сельпо купил и настораживал по ночам, однако никаких крыс в нее не попало.

Пострадал от такого поворота событий и председатель сельсовета Афонин. В первые месяцы трезвости дед Кузя хвостом ходил за ним и ежедневно приставал с устными заявлениями о том, что никакая другая сила, кроме самого человека, не поможет человечеству найти правильный выход из создавшегося положения, и упорно требовал, чтобы Афонин составил ему мотивированное письмо в «Объединенную Нацию» по крайне важному для рода человеческого вопросу, так как сам дед Кузя, хотя и читал довольно бегло, писать не умел, кроме как расписываться.

Но поскольку Афонин на устные заявления старика не реагировал, а требование составить письмо игнори-

ровал, дед Кузя взялся самостоятельно изучать иностранный язык, чтобы осенью, продав картошку, лично катануть в Объединенную Нацию и произнести там мотивированную речь на иностранном языке. Свои научные занятия дед Кузя вовсе забросил, ночи напролет, сидя в библиотеке Дома культуры, твердил заграничные выражения и, видимо, изрядно преуспел в этом деле, потому как ни односельчане, ни приезжавшие в деревню иностранцы не понимали из его разговоров ни слова.

Однако по мере овладения богатствами заграничной лексики дед Кузя все больше успокаивался, камень на душе таял, ответственность за судьбы человечества все меньше тяготила старика, и в конце концов пришел дед Кузя к резонному выводу, что весь этот конгресс и связанная с ним чертовщина — не что иное, как вполне научная галлюцинация, пригрезившаяся ему на почве злоупотребления. Впрочем, выходя по вечерам на двор, он все же по привычке настораживал ухо — не послышится ли со стороны сарая знакомый говорок. Но думал уже не о чертях, а о том, что пора бы с помощью Афони организовать в Баклушах добровольное общество по борьбе со злоупотреблениями. Потому как кто бы еще, кроме деда Кузи, мог стать в этом обществе председателем?

СОДЕРЖАНИЕ

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ	5
ПЕРВЫЙ ШАГ	75
ХИМЕРЫ ДИША	137
ТЕНИ	169
ОПРОКИНУТЫЙ МИР	187
КОНГРЕСС	211

Л24 **Лапин Б. Ф.** Под счастливой звездой. Научно-фантастические повести и рассказы. М., «Молодая гвардия», 1978.

240 с. с ил. (Библиотека советской фантастики).

Для иркутского писателя Бориса Лапина в фантастике важны не столько необыкновенные научно-технические идеи (хотя он не пренебрегает ими), сколько характеры героев. Автор исследует проблемы, связанные с перепроизводством информации, с вынужденным отрывом горстки исследователей от всего человечества, решает вечные вопросы о долге и праве, об ответственности каждого перед каждым. Ему удаются не только драматические, но и юмористические страницы.

л 70302—197—232—78
 078(02)—78

P2

ИБ № 1100

Борис Федорович Лапин

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Редактор В. Жигунов

Художник К. Фадин

Художественный редактор Б. Федотов

Технический редактор В. Мещаненно

Корректоры А. Долидзе, З. Харитоновна

Сдано в набор 12/XII 1977 г. Подписано к печати 18/VII 1978 г. А05701. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 2. Печ. л. 7,5 (усл. 10,5). Уч.-изд. л. 10,7. Тираж 100 000 экз. Цена 65 коп. Т. Ц. 1978 г. № 232. Заказ 2218.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.

Сканирование - Беспалов
DjVu-кодирование - Беспалов



65 коп.

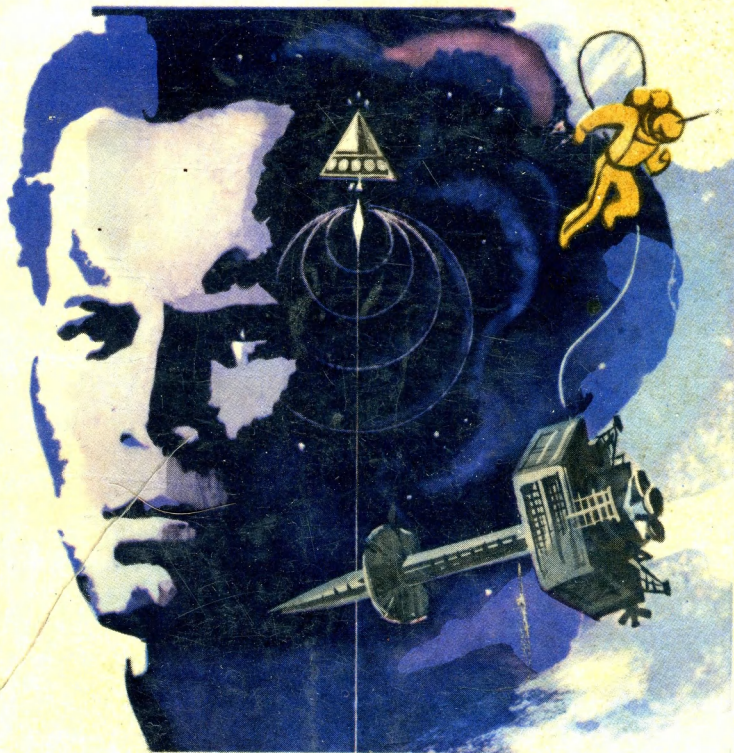
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



Библиотека советской фантастики

БОРИС ЛАПИН

ПОЯ СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ



ПОЯ СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

БОРИС ЛАПИН